ВРЕМЯ И МЫ

69
1989

Юрий Кублановский
Картинки с выставки

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

● УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОВИННОСТИ
● ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
● ОТЦЫ И ДЕТИ В ЭМИГРАЦИИ
● ПИСЬМА БЕЗ ШТЕМПЕЛЯ
● МОСКОВСКИЕ ЗАЛОЖНИКИ

Зденек Млинарж
Холодом веет от Кремля

Максим Шостакович
О своем отце

Андрей Кленов
Лесная повесть

Илья Левков
Новые американцы в анфас и в профиль

ВРЕМЯ и МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Восьмой год издания

Выходит один раз
в два месяца

69
1982
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1982

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК
АСЯ КУНИК
ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛЕВ НАВРОЗОВ
КАРЛ ПРОФФЕР
АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДОРА ШТУРМАН *(зам.гл.редактора)*
ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отдаления: Jerusalem, Ta'piot mizrach, 422'6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX FRANCE

Представители журнала:

Англия — Александр Штромас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,
Brighouse W. Yorkshire HQ6 3PZ ENGLANO

Канада — Юрий Лурьи
305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3T 2N2
t. (204) 474 9773

Западный Берлин — Juscwa Mischijew
Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65

OCR и вычитка — Давид Титиевский, январь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Зиновий ЗИНИК
Уклонение от повинности 5
Владимир РЫБАКОВ
Два рассказа 80

ПОЭЗИЯ
Юрий КУБЛАНОВСКИЙ
Картинки с выставки 90
Андрей КЛЕНОВ
Лесная повесть 97
Олег КУСТАРЕВ
Иронические стихотворения 104

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ
Илья ЛЕВКОВ
Новые американцы в анфас и в профиль 108
Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Отцы и дети 138
Борис ХАЗАНОВ
Письма без штемпеля 147

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Максим Шостакович о своем отце 172

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Зденек МЛИНАРЖ
Холодом веет от Кремля 186

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"
Комар, Меламид и Иосиф Сталин 240

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

Зиновий ЗИНИК

УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОВИННОСТИ

Люди все те же, но лица стали непроницаемы: видно, чувство долга сдвигает зрачок глаза так, что человека не узнать, нацепляет невидимые очки на глазницы, чтобы зоркость вся пошла на меткость прицела, а не тратилась зазря на узнавание собственного отражения в чужих глазах. Приказ отдан, и взгляд сержанта соскальзывает с тебя, как с отстрелянной мишени. Долг приводит к дальнозоркости: тебя в упор не видят. И нечего на тебя глядеть. Более того, ты обязан стать невидимым, чтобы не заслонять поле возможного боя: от пыльных ботинок до каски, похожей на растрескавшийся горшок белой глины, от двух ранцев цвета цвелой ржи спереди и сзади до плащ-палатки, навешанной лошадиным хомутом, все с ног до головы делало Максима еще одним осколком известняка, камнем, сброшенным с неба и незаслоняющим горизонт (или историческое будущее), по срезу которого, как по отбитому краю жестяного котелка, навалена была солдатским половником порция жизни. Алефтина назвала бы ее пустыней. Что ей коренастая олива, взвинченная на

склоне источенного ветрами холма, вросшая в каменистые борозды, похожие на детективный отпечаток большого пальца — что ей сами холмы, подернутые пушком очередной поры зрелости по весне, еще не выбритые наголо тюремным приговором летнего солнцестояния с его зенитным обстрелом. Что ей это телесное бесстыдство холмистых складок, открытых всему небу сразу и бесплатно, холмов, как в свальном грехе, щекочущих друг друга хороводом теней от самих себя на самих себя. Что все это ей, бредящей чужим помыслом перед мокрым деревом, заслоняющим свет в окне, а за спиной вся комната разорена вчерашними претензиями на дружбу и взаимопонимание, где потуги на постельную свободу казались еще вчера и только вчера песней буревестника для узкого круга слушателей. Что им, живущим телефонными раскаяниями и застольными обидами, запрещенными книгами и недоступными знакомствами, что им безымянность и беспамятство пустых холмов с застывшими в воздухе артиллерийскими взрывами из коренастых олив?

Впрочем, назвать эту местность безымянной можно лишь в том смысле, что у нее было слишком много имен — религиями лелеемая фамильярность к месту, где тысячелетиями не жили, а лишь молились: каждый по собственному человеческому разумению. Для новобранцев, согласно разъяснению после утренней переклички, место прохождения курса молодого бойца размещалось там, где в свое время праотцу Якову привиделась лестница до неба, и по этой лестнице спускались и подымались ангелы. Несколько позже тут скелетами динозавров забелели бетонные бараки солдат арабской армии, но от солдат остались лишь советские кирзовые сапоги: без сапог легче отступать. Голенища этих сапог еще не успел окончательно изъесть едкий червяк солнца и горючий яд ближневосточного дождя, когда на этих библейских холмах запрыгал Максим горным козлом под окрик сержанта. И ему, которому полагалось уверовать в видение Якова, было ясно, что Бог демонстрировал (посредством лестницы и ангелов), как проводить курс молодого бойца среди новобранцев. Вверх и вниз, а также в сторону прыгали новобранцы

горными козлами, пытаясь овладеть разборкой и сборкой автомата в положении стоя, лежа, на коленях, на карачках и во время перебежки. Этими ангельскими экзерсисами руководил сержант — восемнадцатилетний мальчишка, эмбрион пантеры и свежевыбритого пуделя, но розовая пена на его губах была всего навсего жвачкой под артиллерийским названием "базука": выдавливаемая сквозь зубы, она раздувалась в розовый шар, как будто с первомайской демонстрации, и лопалась с сухим оружейным треском. Это "базуковое" щелканье пугало, как удар кнута, и сопровождалось выбрасыванием сержантовой руки в сторону горизонта. "Впереди араб!" рычал сержант и понукал новичков единственным известным ему русским словом: "Давай, давай, давай!" Звучало это понуканье, как "ходи, ходи, ходи!", которое выкрикивают акушерки, когда давят на живот, чтобы ускорить роды; и абортированный из Советского Союза Максим скатывался вниз по холмам исторической родины навстречу воображаемому арабу. Или римскому легионеру. Или янычару, или там сельджуку и даже крестоносцу. И, валясь в прибитый сапогами песок, Максим укутывал свой слух историческим эхом этого города легионеров, сельджуков, янычаров, конквистадоров и крестоносцев, протопавших по этой земле, бряцая доспехами, шелестя знаменами и великими идеями, и в этом шелесте отгрохотавших идей, сливающемся с шуршанием песка, было так легко затеряться, стать незаметным средь исторического бала, где все уже было и где твой позорный наряд никому не бросается в глаза, не говоря уже о позорных закоулках твоей памяти. Смявшийся в кармане брюк конверт письма от Алефтины теребил бедро жестким углом, письмо было толстое и еще не прочитанное, оно теребило кожу и щекотало память: телесный изгиб пустынных сопок начинал походить на изогнутое в напряженной позе бедро Алефтины, и, зная, что в этом письме оттуда она будет вспоминать о сладком позоре, нелепо прерванном, Максим еще глубже зарывался в ложбину холма, отмахиваясь от навязчивой лермонтовской цитаты о полдневном жаре в дагестанской долине и бесчувственном трупе с свинцом в гру¬

ди, без винца в животе и без венца на голове, которому снится она, которой снится его труп.

Но как бы по-лермонтовски презрительно ни щурил Максим свои колючие глаза, губы под щетинкой усов растягивались в неприличной улыбке, и постельная раскладка холмов перестраивалась в кавардак лавочек, диванов и кушеток, в путаницу рук, ног, задранной юбки, которыми кончались их конфиденциальные шушуканья, непонятно с чего начавшиеся. С того момента, когда она впервые угадала его взгляд у себя на ключице? Или тогда, когда она запуталась в местоимениях, перепечатывая его перевод из "Тропика Рака" с философскими рассуждениями русской эмигрантки в Париже насчет того, что "in Russia it often happens that a man sleeps with a woman without touching her. They can go on that way weeks and never think anything about it. Untill puff! once he touches her... puff! puff! After that it's puff! puff! puff!" ("В России мужчина, бывает, спит в одной постели с женщиной, не трогая ее. Они спят так неделю за неделей и не обращают друг на друга никакого внимания. Но в один прекрасный день — пафф! он дотронулся до нее и — пафф! Ну и потом — пафф! пафф!) и даже следовал пассаж, где анатомия постельной конфигурации могла сконфузить и быка, но не Алефтину. У него был верный ястребиный глаз на таких, на первый взгляд, неприметательных и приличненьких, которые выдавали себя лишь неожиданно закушенной губой, перехваченным взглядом исподлобья, странной резкостью жеста — когда она вдруг перекладывала руку с бедра и не знала, куда ее деть, или, перебирая пуговицы блузки, отклонялась на спинку дивана, или нетерпеливо вздыхала и отключалась от разговора. И тогда, под невзрачной юбочкой и угловатой кофтой угадывалась другая женщина, другое тело с другими замашками. Одна из самых классных машинисток в Москве, Алефтина была лучше всех осведомлена во всех видах печатного и непечатного слова на Руси. Через ее десять пальцев проходил и самиздат и Госиздат, а при отсутствии копировалок она перепечатывала и тамиздат, так что всех авторов она знала, если не лично, то с интимностью десятипальцевой системы. У нее были свои

литературные предпочтения, связанные, естественно, не со смыслом того, что она печатает, а исключительно с количеством знаков препинания и всяческой полиграфии, из-за которой приходилось нажимать на разные рычаги и вообще приостанавливать балетный танец на десяти пальцах. Так что нравится ли ей, скажем, "Тропик Рака" в переводе или учебник по диамату в оригинале, она могла сказать, взглянув краем глаза на печатную страницу, как на картинку. Наибольший восторг у нее вызвала до сих пор перепечатка последней главы "Улисса" и вообще школа потока сознания под диктовку без запятых. "А жалобы в верховные инстанции и всякие письма протеста на дух не переношу", говорила она. "Столько вопросительных и восклицательных знаков, что пальцы вывихнуть можно". Подобные меткие наблюдения в разговорах с ней в конце концов съезжали на одни и те же рельсы: кто и как соблазняет ее во время диктовки. Алефтина утверждала, что угадывает момент перехода от диктовки к соблазнению задолго до того, как чувствовала похотливое дыхание своим пушистым затылком или приближение жаркой ладони к ее голому плечу. Согласно Алефтине, первый признак подобных намерений диктующего заключался вовсе не в движениях и жестах, а непосредственно в темпе диктовки; возникала некая потусторонность в голосе, с вопросительным повышением интонации в конце предложения, и затем всегда небольшая пауза, явно свидетельствующая о рассеянном внимании. Как только в воздухе начинали порхать подобные модуляции, Алефтина прикидывала, насколько ее устраивает дальнейшая перспектива диктовки; иногда, конечно, неопределенность доходила до того, что диктующий уже стягивал ее лифчик, пока голос его продолжал свою монотонную трусцу с непредвиденными паузами на каждую пуговицу, а Алефтина все не могла решить, отдаваться или не отдаваться, и продолжала свой десятипальцевый танец. Нужно сказать, нечто аналогичное происходило и во время встреч с Максимом; оба при этом делали вид, что ничего не происходит, кроме продолжения старого разговора. Но в решающий момент или звонил будильник или раздавался звонок в дверь.

кто-то должен был вот-вот прийти, кому-то надо было куда-то убегать, короче говоря, им никогда не хватало времени или подходящих обстоятельств просто раздеться и забраться в постель: по какой-то тупой недальновидности и интеллигентскому занудству встречи с ней всегда начинались с подробного обсуждения очередных экспериментов Алефтины за пишущей машинкой, и на этот разгон уходила вся встреча; интуиция же Алефтины кончалась, как только она покидала вертящееся кресло машинистки; с Максимом наедине она никак не могла понять, чего он, собственно, хочет и продолжала нагромождать самые невероятные истории о позициях и способах и как кто кончил во время диктовки, не забывая при этом подробно пересказать, что при этом ей диктовали: лагерную эпопею Солженицына или исследование о происхождении имен. Она, возможно, решила, что его развлекает само это сочетание литературы под диктовку со стоящим членом, и больше ничего; может быть, не так уж она была и неправа.

Его, лишнего человека среди героев нашего времени, мало чего интересовало. Никому не нравился его неподвижный следящий взгляд, его резкий короткий смешок в самом неподходящем моменте серьезного разговора, его нежелание разделять всеобщую озабоченность вопиющим положением дел и, главное, его беспардонность в отношении того, что считалось чужой тайной; четкой и хорошо продуманной скороговоркой он выговаривал все услышанное им вне зависимости от того, касалось ли дело интимных сторон чужой жизни или сплетен из политбюро. Для него все было едино и занимательно, как для коллекционера бабочек, — значение имела лишь редкость экземпляра. Многие в Москве вообще считали его подонком с темными связями. Максим, например, без стеснения говорил о своих друзьях, которые после Института иностранных языков были завербованы в органы, не осведомителями, правда, но, все же, переводчиками, и ясно для каких целей. На цели ему было плевать. Ему важно было рассказать о своем приятеле, который споил всю Африку, поскольку, пропив всю зарплату, стал скупать за копейки спирт в местных аптеках, и, как только цены начали повышать в одном городишке, он перелетел на вертолете в другой, пока цены на спирт не поднялись на всем африканском континенте — до него никому в голову не приходило, что можно надираться спиртом не хуже, чем ихним джином. Или рассказы другого своего приятеля-переводчика, служившего в Египте и попавшего в сектор Газы, где на берегу были расставлены сети — не для рыбы, а для перелетных птиц, которые летели через континенты и океаны, и, приблизившись к Газе, обессиленные, попадали в расставленные сети, да и сети были ни к чему, птиц можно было подбирать на берегу голыми руками. Сейчас, ползая и катаясь на подушках холмов Иудейской пустыни, Максим знал, что эта Газа, где он так и не побывал, была у него за спиной, все с теми же птицами, приземляющимися в смуглые руки арабов. И у него не было желания проверить глазами подслушанные во время работы синхронным переводчиком все нелепости и экзотику разных стран и народов; он как будто знал наизусть этот мир по словарям, и сама география этих слов его мало интересовала. Как мало интересовала его в сущности и постельная неразбериха, путанье в застежках и брюках, и, вспоминая декаданс фривольного разговора с Алефтиной, Максим ехидно улыбался самому себе, восстанавливая их чисто словесное совершенство и изобретательность: этот разговор о порнографии был занимательнее самой порнографии, а порнография была занимательнее самых изобретательных постельных упражнений — и ветерок пустыни, вздымавший микроскопические ураганы песка перед носом, приносил запах стираной и отглаженной летней кофты Алефтины, когда она откланялась на спинку дивана и отводила, косясь, взгляд, возбужденный собственной полуправдой постельных упражнений. Но правды в этом разговоре было больше, чем в любом другом: в конечном счете, ни в одном московском разговоре не было никакого толку, и никто из рассуждавших про обагряющих руки в крови не собирался переходить в стан умирающих за высокое дело любви, и уж если суждено было словами подменять дела, то высокое дело любви и заключалось в разговорах о 69-й позиции и ее отличии от 96-й. И когда из-за дымной мглы того проклятого мос¬

ковского лета все позиции спутались и от слов они перешли к делу, Максим и оказался зачисленным в стан обагряющих руки в крови. И из этого стана на курс молодого бойца, глядящего в полдневную долину.

Кожа бледнолицего из Москвы была припечена едким весенним солнцем; давящую, как глиняный горшок, каску запрещено было снимать, и пот со лба шипел по щекам, как масло на сковородке, но тело, упавшее в ложбинку между буграми, отходило от зноя, впитывая сквозь солдатскую парусину строгую прохладу весеннего холма; и через мгновение земля, согретая брошенным на нее телом, начинала размягчаться и источать дурман и зачатки весенней поросли как будто вздымались навстречу касанию. Глаз начинал уклончиво скользить по округе, стыдливо избегая задорного нахальства как будто высунутого напоказ арабского минарета — без стеснения торчащего из скомканного простынного вороха арабской деревни на вздувшемся холме напротив. "Давай, давай, давай", понукал отрывисто сержант, и надо было вставать и снова валиться, и снова вскакивать, и снова менять позицию, вдавливаясь в новую ложбину этого влажного весеннего живота, в задорном раже соревнуясь с торчащей шишкой минарета. С этой мусульманской эрекцией наперегонки они развлекали общую подружку; земля была шлюха, душка, публичная девка, сбежавшая и от праотца Якова, и от другого всякого, чтобы ее наяривали и в хвост и в гриву каждый по собственному разумению, научившись у религии беспринципности — тому, что истина, может, на свете и одна, но имеет ее каждый по-своему: один предпочитает всегда в рот, а другому нужно поставить ее раком. И Максим, в чьих заячьих ушах, прижатых к земле, топот солдатских ботинок отзывался стуком сердца, разогнавшегося в любовной горячке, Максим, жертва эмигрантского аборта и побочный сын повивальной бабки революции, был запанибрата с этой землей: и ему как и ей, надо было присягать и праотцу Якову, и другому всякому, чтобы однажды, когда позабудут, сколько праматерей было у бога до нас и сколько правнуков другой веры наплодится после, дали бы вот так вот упасть под солнцем, освещающим все с зенитной позиции, и удариться в разгул свободы, которая и есть любовная потеха на виду у всех, но никем не замечаемая и потому потерявшая имя греха. Но как приговор над головой гаркнуло в воздухе пронзительное и загадочное слово "чиф!", которое в устах сержанта сопровождало появление командира, как приказ встать по стойке смирно. Этот окрик выбросил Максима из нагретой постели холма. Он сделал попытку продемонстрировать, что по прямизне и мужской стойкости не уступает минарету напротив; но минарет бессильно качнулся в дрожащем знойном воздухе и стал клониться набок. Максим упал в обморок.

Он очнулся, как на допросе, от яркого света лампочки, бившей по заплывшим глазам. Руки кололо армейское одеяло с несчищаемыми комьями грязи лагерного срока предыдущих новобранцев. От бетона бывших иорданских бараков, раскалившихся за день, исходил печной жар, или же зноем было пропитано само его тело, и этот зной отражался бетонными стенами обратно на него. Максим пытался поднять голову, сраженную солнечным ударом, но расплавленный свинец перелился из затылка к надбровным дугам, и голова снова скатилась на скрученную у изголовья шинель. Постепенно набатный грохот в голове рассортировался, и он понял, что ругань, вопли и гам ему не мерещатся, а исходят от шныряющих по бараку теней, и эти тени наконец воплотились в физиономии новобранцев подразделения. Их ноги свешивались с верхнего ряда коек, их туловища были скрючены по углам, они сталкивались в проходе и ни на секунду не останавливались. В этом систематическом безумии не принимали участие только два вора из дагестанцев, резавшихся в карты на соседней койке. По прибытии на курс молодого бойца эти два чернявых продемонстрировали в качестве назидания ловкость собственных рук без какого-либо мошенства, и сказали, что карманы всех и каждого будут очищены всякий раз, когда их заставляют делать то, чего им не подсказывает чувство иудейско-дагестанского долга. Зато отчетливо раздавалась на весь барак логическая тянучка немецкого выходца, как всегда утверждавшего, что последующий приказ командования находится в

логическом противоречии с приказом предыдущим. Два индийца, выполнив задание первыми, как всегда чавкали, склонившись над чемоданом, где они хранили бананы, помидоры и другие вегетарии, натыренные из столовой: они поедали эти продукты по ночам или же в особо нервном состоянии. Шло выполнение какого-то очередного армейского приказа и, как всякое военное задание, оно гипнотизировало одновременно своей затверженной четкостью и явной бессмыслицей, что создавало впечатление внутренней истерии. Мелькающие в сумеречном свете лампочек фигуры носились туда и обратно с кусками картона в руках, в воздухе мелькали ножи и ножницы, вытряхивались ранцы. "Ты уже сделал картонные прокладки для заднего и переднего ранца?" склонился над Максимом старшина. "У меня обморок", сказал Максим. "Значит, ты освобожден от марш-броска?" спросил тот строго. "Значит", предположил Максим, и старшина провалился в очередном проходе между койками. Вместо него — то ли как возвращение, а скорее, как продолжение бреда — возникла перед глазами Максима физиономия негра. А может, не негра, а мулата. Темное лицо, которое по-русски все равно называют негритянским, даже если оно — лицо квартеронца. Ведь, скажем, Эдмунда называли ведь в Москве негром, хотя он негр наполовину, по отцу, то есть, значит, мулат, а по матери он вообще, можно сказать, еврей, и все равно его в Москве называли негром. Поэтому и можно было сказать, что перед глазами возникло лицо негра: лицо это было точной копией эдмундовского. Та же хорошо рассчитанная беспринципность в прищуре глаз, та же нахальная открытость чеканной улыбки, российские ямочки на скуластом мулатском лице, лице московского шалопая, рожденного красавцем в негритянской шкуре: только потому, что его папа, американский негр, решил остаться в России, правильно смекнув, что советской власти всегда будет нужен свой негр, если не для лекций по антиамериканской пропаганде, то для кинороли про разные там хижины дяди Тома; мама же побоялась возвращаться в Штаты, зная, что бруклинские предки не простят ей интрижки с негром не только просоветской, но и всякой другой

антисемитско-черной направленности. Лицо было точной копией Эдмунда, а может быть, не копией, а прямо и оригиналом, что было бы совершенно невероятно, если учесть обрамляющую рамочку иорданского барака на библейской территории, где это лицо предстало — что, впрочем, как раз и делало появление Эдмунда вполне логичным для полубредового состояния Максима: вполне возможно, Эдмунд спустился сюда по лестнице Якова, и вообще негры всегда поют про то, как они плакали на реках Вавилонских, в блюзах на слова царя Давида, и нет никакого резона им не появиться в конце концов в Святой земле в одну из душных весенних ночей на курсе молодого бойца для новоприбывших.

В появлении Эдмунда было нечто гастрольное, как и полагалось работнику Москонцерта. Для цирка он был недостаточно черен, и, кроме того, дорога в Москонцерт уже была проторена папой, который, перед тем как умереть от белой горячки, тоже пел песни порабощенных американским капитализмом негров. Конечно, в отличие от папы Эдмунд впитал английский лишь с молоком матери, то есть когда период кормления младенца закончился, он и ночевать дома перестал и слышал с детства, главным образом, уличную московскую феню, если не считать знакомства с письмом Белинского к Гоголю из средней школы. Так что с английским у него было дело швах. Впрочем, слова и музыка к песням порабощенных негров сочинялись в оригинале советскими композиторами и поэтами, а затем перекладывались на английский неквалифицированными переводчиками, вроде Максима (так они и познакомились), под чьим руководством Эдмунд и заучивал эти гимны по буквам наизусть, не вникая в смысл, которого было мало: "Русский и негр братья навек, братья навек, братья навек" и под это дело надо было по-иностранному дергаться, что Эдмунд умел делать безупречно. Это и вызывало восторг аудитории домов культуры и отдыха, и поэтому ни одна гастрольная поездка Москонцерта по городам и весям Советского Союза не обходилась без Эдмунда.

"Ты как сюда попал?" спросил Максим этого черного

ангела, присевшего на его скамейку, качавшуюся в бредовом хороводе дагестанских воров, немецких логиков и вегетарианских индийцев на армейской диете. "Так ведь у меня жена аидка", улыбнулся ангел Эдмунд своей мулатской ухмылкой, обнажив прокуренные московские зубы. "Это все аидышные штучки моей напористой жены. То есть вся понтяра началась, когда мы в свои шестнадцать лет с моим корешем по двору хохму откинули при получении паспорта. Пришли в милицию, а там из паспортного окошка высовывается такая малообразованная кикимора из нацменьшинств, ну мы и стали морочить ей голову насчет моего национального округа. Что папа, мол, у меня — негр из Америки, и мама, хоть и не негр, но тоже из Америки, и, поскольку негр — это не национальность, а по-американски оскорбительная кличка, вроде жучки, то я в паспорте должен быть записан не как негр, а как американец. Нацменша вылупила зенки, вы, что, говорит, трекнулись — в советском паспорте, и американец?! нету, говорит, такой национальности, американец, в нашей советской семье народов, пока еще, по крайней мере, нету, а когда будет, тогда и приходите американцем записываться со своей папой и мамой. Тогда мы с приятелем пошептались, и я ей ответственно говорю: у меня папа негр, а мама, хоть и американка, но еврейка, и если я не имею права на американца в паспорте, то так, по правде, и записывайте: "негр-еврей". Ну она по бюрократической старательности так и записала. Анекдот!" Его слова и звучали заученным анекдотом. "Моему двойному паспортному происхождению прищемили яйца на гастролях в республике Биробиджан, где все местные евреи на счету, а всякий со стороны подозревается в сионизме. Добирались последние километры по грязище на самосвалах, а как доперли до гостиницы под кодовым названием "Дом колхозника", сразу же проверка паспортов. То есть все паспорта у нашего концертного администратора, но он их должен по прибытии сдавать на милицейскую проверку. Не успел я штаны снять, вызывает он меня к себе в номер. Сидит он прямо на круглом столе посреди помещения, как премудрый портяжка, а перед ним мой паспорт. А сам он весь алый, как

советская заграничная паспортина, кричит: "Тебе мало, что ты чернопопый на белом свете, да?" кричит, и тычит в мой паспорт: "Тебе надо еще и обрезание на переднем половом хере, да? а как органы этой республики на такую хитрожопость прореагируют, тебе нассать с высоты твоего пятого пункта, да?" Схватил бритву марки "Аврора" и стал "еврея" этой революционной бритвой из паспорта счищать. Я перепугался, кричу: что вы делаете, кричу, вы что — трекнулись, кричу, это же гербовая бумага! Но он на меня поглядел внимательно и сказал: "Ты этой гербовой бумагой подотрешься, когда будешь отбывать в свой Израиль. А здесь Биробиджан и изволь тут быть нашим советским негром, если ты не хочешь, чтобы твоим двойным дном заинтересовались наши ответственные органы". Так и счистил еврея из моего паспорта. Но как был прав старикан насчет гербовой бумаги, как будто знал, что в биробиджанской столице я закадрю местную аидку. То есть, конечно, неизвестно, кто кого закадрил. Я ее, конечно, потряс песнями порабощенных негров, а может, дергался в тот раз особенно интригующе. Но скорее всего, ее воображение захватила моя московская прописка. Так или иначе, на первой же праздничной пьянке в честь приезда московских артистов эстрады она сумела оказаться за столом по левую руку от меня, так что моя левая рука сразу оказалась у нее под юбкой, в то время как ее правая у меня в штанах. Свободными руками мы могли чокаться с окружающими и кончили вместе под тост за партком местного отделения Госконцерта, где она работала машинисткой.

А как только мы прибыли с ней в Москву, она, не теряя времени, вернулась к проблеме моего обесчещенного паспорта, который к тому времени у меня стырили на пляже в Химках вместе с польскими джинсами: те, кто тырил, думали наивно, что если негр, значит, джинсы американские. Надо было новый паспорт получать. Тут и началась эта понтяра. Моя аидочка в своей биробиджанской диаспоре только на мое московское происхождение и зырилась. Но тут, когда учуяла американскую прописку в утерянном паспорте, глаза у нее стали похожи на блестящие пуговицы от джинс, и голо-

ском диктора "Голос Америки", слегка с эдаким иностранным приветом, стала долдонить про то, мол, что негр это не национальность, а кличка вроде жучки, и намылила меня на заявление в районку, которое мой участковый отправил по обратному адресу, то есть мне обратно в рожу и швырнул. Но моя напарница, аидка, с гойской напористостью стала выкидывать бюрократические штучки с целью дойти до американского кепи-энда. Одним заявлением соответствующие инстанции уговаривают утереть свое хайло, намекая, что мне с моей чернявой физиономией не грех обклеиться своими заявлениями на белой бумаге, но ведь ей, биробиджанской машинистке, еще одно заявление сварганить, как два пальца обсосать. Вся эта понтяра через год была у меня уже поперек горла, как будто я нажрался своими собственными заявлениями. Пока моя аидка не протырилась на прием к полковнику Удальцову из внутренних дел. Обратно, думаю, из этих внутренних дел не выйду. Шторки на окнах, седина на висках, китайская самописка на столе, улыбнулся нам Удальцов вставными зубами: "Какими путями в наши Палестины? По какому поводу слегка увлажнена подушка?" А у самого под каменной ладонью на дубовом столе фоторожа моей личности. Моя аидка долдонит про нацменшу, которая заклеймила меня кличкой вроде жучки в советском паспорте, способствуя тем самым расистам-империалистам, которые пытаются лишить черное меньшинство законной родины. "Какой родины?" спрашивает Удальцов. "Советской!" отвечаем, "вне зависимости от цвета кожи, даже если это цвет американского флага по папе и по маме". Ну, думаю, нас сейчас из-за этих внутренних дел прямо с кишками спустят в унитаз. Но Удальцов надел очки, поднял к глазам образцовые отказы предыдущих инстанций, кашлянул, покраснел, высморкался, закурил папиросу, тут же ее погасил, тряхнул погонами иронически, выпятил губу и сказал: "Хы ты черт, чудаки, ей-богу, бюрократы, ась?" Улыбнулся нам удальцово и подмахнул нашу бумаженцию вечным китайским пером. И возвращая нам удовлетворенную просьбу, пожал мне руку поздравительно и сказал: "Законность!" Я до сих пор раскумекать не могу: визит Никсона ему мозги что ли размягчил?"

Все передряги приходились почему-то на визит американского президента, который, как известно, посещал Центральный рынок, сливаясь с советским народом, и там предложил мяснику долларовую облигацию в качестве сувенира, а тот доллары отверг, сказав, что советский мясник не торгует пушечным мясом. А наши советские кости тоже продавать на доллары отказался: сдачи, сказал, нету, хотя ему и намекали со стороны в штатском, что наше государство заинтересовано в заграничной валюте для борьбы с иностранным империализмом. Больше этого мясника на Центральном рынке не видели, а на следующий день после этого недоразумения в милицейском распределителе при рынке выбросили, по слухам, очень качественный фарш. Ручаться, впрочем, ни за какие факты в те дни нельзя было, потому что Москва погрузилась в дымную мглу и видимость приближалась к полной неразличимости. Дымная мгла началась из-за лесных пожаров, лесные пожары начались из-за засухи, засуха же началась, по мнению одних, когда ввиду нехватки алкоголя, население стало гнать самогон прямо из воды. Но, по мнению отъезжающего отказника Марка, засуха была божьей карой по аналогии с египетскими казнями; некоторые из евреев, правда, склонялись к мысли, что это не божья кара, а провиденье с целью подготовить будущих граждан исторической родины к климату Иудейской пустыни; но большинство отказников, глядя, как крупноблочные дома исчезают в дымной мгле и Москва задыхается в удавке пожаров, цокали языками про тьму египетскую и рвались на встречу с Никсоном, как с Моисеем. Но из-за этой самой тьмы египетской они путали адреса и попадали в военкомат, где их забривали в армию. Некоторые же уклонялись. Это была эпоха уклонения от воинской повинности. Пахло жареным. Никто никого в глаза не видел, не видел никто и американского президента, и с дымной мглой по Москве поползли чудовищные слухи. О том, что якобы Никсон он, конечно, Никсон и американский президент, но насколько он Никсон и насколько он американский президент?

Максим плохо понимал, почему свалившийся с неба Эдмунд повторяет заезженные московские байки. Но голова

была приплавлена к подушке свинцом в затылке и растрескавшиеся губы были плотно запечатаны, так что и остановить Эдмунда он не мог своим неворочающимся к тому же языком. А может быть, сам Максим при виде знакомых болтливых глаз, стал повторять в памяти авантюрные паспортные подвиги Эдмунда, чтобы одним махом отвязаться от нудного обмена лихими воспоминаниями, примиряющими столь неожиданную и неуместную встречу в настоящем. Так проборматываешь про себя внезапно и беспорядочно вспомнившиеся разговоры под утро после дурной и короткой ночи, когда в глаза уже бьет дневной свет, но под веками еще бредовые сны, и ты начинаешь разговаривать вслух без знаков препинания и особой логики, как будто освобождая свою память, на дне которой завалялось два простых слова "доброе утро", но никак их, эти два слова, не составишь вместе, не отыщешь в ворохе словесного мусора, и вот вместо этого впопыхах перебираешь так и эдак все попадающееся под язык. Гастрольное появление Эдмунда у солдатской койки было неизбежным, поскольку полубредовый зной иорданского барака совпал в памяти со знойным московским летом и прокуренными квартирами в поту и пыли уклонения от воинской повинности, где авантюры Эдмунда играли не последнюю роль. И он снова проговаривал свои байки, чтобы соединить эти два знойных дня вместе, и между ними застрял Максим, ощущавший себя в этот момент пустопорожним ранцем, то ли задним, то ли передним, но во всяком случае без картонных перегородок — бесформенным и пыльным вещевым мешком, заброшенным из Москвы в иорданский барак библейской родины.

Сейчас, из некоторой дали не видно пошлых мелочей, и в прокаленном за день иорданском бараке, в поту и пыли и запахе гуталина, с солдатской койки ему, сраженному солнечным ударом, все эти московские дни казались "понтярой". И черномазый ангел склонялся над ним, хлопая его по колену, и тараторил, уверяя в разухабистой анекдотичности тех лет: "Помнишь? А? Как мы милицию надували? Как мы косили от армии? Как мы незабвенно обмывали наше уклонение от повинности?" "Не помню", сказал Максим, хотя прекрасно помнил паспортные похождения Эдмунда. Но ему хотелось заново услышать то, что он прекрасно помнил, чтобы восстановить то, что он аккуратно и намеренно забыл. Давно известное было амнезией, предваряющей операцию вспоминания, на которую Максим решился благодаря солнечному удару, швырнувшему Эдмунда на край его солдатской койки. И Эдмунд стал продолжать анекдоты из своей жизни, которые и анекдотами не назовешь, поскольку вся его жизнь была сплошным анекдотом. Был некий подвох в излишней напевности его ностальгических переспросов и, прежде всего потому, что сам Максим, как известно, ни от кого не уклонялся и ни от чего не косил, а только участвовал в обмывании чужих подвигов. Обмывались эти подвиги, действительно, незабвенно, с некой очумелой значительностью; каждая заглотанная рюмка водки воспринималась, как сократовская чаша цикуты, как будто сорокоградусное жжение в желудке было вакциной против сорокоградусной жары советской столицы, погруженной в дымную мглу, и сама эта раскаленная мгла сливалась в расплавленных умах с советской властью. Нашлась даже группа энтузиастов, которые заранее выставляли бутылку водки на постамент памятника Пушкину, садились в кружок на лавочки и выжидали до полудня, пока водка в бутылке не дойдет до состояния кипения, и ровно в полдень, обнажив головы, молча распивали бутылку из горлышка без закуски. В народе их стали называть "сорокоградусниками", в результате чего многие из них поплатились арестом, поскольку в доносах их путали с сектантами "пятидесятниками". Лишь в этой накаленной атмосфере героики и могло произойти то "незабвенное обмывание уклонения", на которое намекал Эдмунд. Джунгли московской квартиры Максима кишели экзотическими двуногими и не хватало только мулата Эдмунда с его цитатами из "напористой аидки с ее гойскими штучками". И Эдмунд появился. И произошло то самое "незабвенное обмывание уклонения" и все то, из-за чего всю эту московскую "незабвенность" хотелось предать забвению. Но вначале появилась Алефтина.

* * *

Алефтина позвонила и предложила встретиться в центре. Она неожиданно вернулась с дачи, где пыталась укрыться от дымной мглы, но подмосковная природа была взята под лагерного типа охрану от возможных пожаров, и было такое впечатление, что за городом был введен комендантский час. Алефтина чувствовала себя под домашним арестом, а когда вышла раз покурить на полянку перед домом, ей чуть ли не на голову опустился вертолет и с него прокричали в мегафон, чтобы она немедленно загасила сигарету. Вместе с туристами, которых гнали из лесу лагерными ищейками, она на следующий же день вернулась в Москву с первой электричкой. Они посидели в скверике у Белорусского вокзала под пыльными, обмякшими и квелыми деревьями, глядя, как все вокруг — от медленно плывущего городского транспорта до белых санитарных кителей милиционеров — уподоблялось некой советской версии полотна импрессионистов, где все дрожит в смутной рассеянности. Оба погрузились в молчание, отчасти из-за духоты и пересохшего горла, отчасти от того, что классическая тема их разговоров истощилась. Развалившись бессильно на лавочке за спиной у Максима Горького, они глядели на портреты членов политбюро на фасаде здания напротив, на физиономию толстощекой бывшей Фурцевой по культуре, непонятно каким образом затесавшейся в эту брутальную компашку: она как будто ахала, невзначай попав в мужское банное отделение; лица членов расплывались в двусмысленной улыбочке, глядевшейся в поволоках дымной мглы, как радостный оскал мужиков в парилке. Созерцая эту банную оргию, Алефтина попыталась оживить вечную тему их разговоров. Глядя на могучий шпиль вокзала, теряющийся в мутной взвеси, она сказала, что никогда не пробовала в ванной. "Скользко, наверное", лениво заметил Максим, "все выскакивает". И Алефтина согласилась, что да, наверное, все выскакивает. Надо было предпринимать какие-то решительные шаги, и они двинулись в направлении пивного ларька у Тишинского рынка.

Ожидали увидеть длиннющий червяк очереди, но вместо этого застали на пыльной плешке толпу, хаотично бродящую вокруг сонными мухами. Подходившие граждане глядели на приоткрытое окошко ларька и явное отсутствие разлива пива и никак не могли решить, уходить ли им несолоно хлебавши или ожидать чуда возвращения отпускальщицы Эммы. Эмма же, как указал местный прикомандированный алкаш, ругалась с нарядом милиции на углу. Эмму, значит, с утра мучила жажда и каждую третью кружку она отпускала себе, так что к полудню уже на ногах не держалась. А тут к ней супруг заявился, его тоже все утро мучила жажда, и он тоже еле на ногах держится. Со своим корешом. И они, еле на ногах держась, так разошлись, так разошлись, очередь за пивом совершенно игнорируя. На кой хер ты мне сдался, пивом тебя бесплатно поить — кричит Эмма — какой ты мне муж, кричит, у тебя не стоит ничего. А он кричит: врешь, кричит, и для доказательства начинает спускать штаны. А пива уже не отпускают, очередь из мужиков пускается на маневр: Эммочка, кричит очередь, он может, кричат, пивка бы нам, он после докажет, Эммочка, к концу рабочего дня. Но Эммочка уже завелась, раскраснелась, кричит: врешь, кричит, не можешь, докажи! И сама юбку начинает задирать. Пришлось вызвать милицию, потому что народу нужно пиво, а не доказательства. Эмма захлопнула пивное окошко, но публика не расходилась, а сбилась в кучки и толкала речи насчет того, что дело не в пиве, а в принципе, но и в пиве тоже дело. Алефтину с Максимом оттеснили в сторону, к груде кирпичей, где презренный супруг Эммы путался в расстегнутых штанах, которые никак не хотели застегиваться, и втолковывал своему корешу, что Эмма должна следить за отстоем пены, а не что и у кого как стоит. "Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня-я-я", не слушая его, горланил советский шлягер его приятель. Никто друг друга не слушал и оттого человеческое общение сводилось к каламбуру. Непредвиденный же каламбур воспринимался как оскорбление и, казалось, вот-вот вспыхнет новый скандал.

"Пьют, суки, кровь, а пива не отпускают", бурчал супруг Эммы.

"Кто?" строго вопрошал его товарищ.

"Эмма, кто же еще. Христа вот распяли", добавлял супруг философично.

"Кто?"

"Ну, может, не Эмма лично, так ее сородичи из пархатой пищпромкооперации. Не обеспечили завоз пива. И вот мы тут, как Он, распятые от жажды".

"Ты бы штаны лучше застегнул", хмуро указал ему товарищ. "Ты чего это, коммунист разжалованный из бывших, за распятого человека забеспокоился? Ну и распяли. Так он же ихний человек был. Он им не сгодился, они его нам и отдали".

"Отдать-то они его нам отдали. А пива не завезли".

"Придется, значит, вдарить по трупному поту", произнес загадочно его товарищ и поцокал пальцем по оттопыренному карману пиджака. "Сейчас мордобой начнется", процедила сквозь зубы Алефтина и потянула Максима за локоть: "Пошли отсюда". Но Максим стоял, как будто приклеенный к этому месту солнцем, плавающим в небе, как плавленый сырок. Эту самую закуску алкашей и выложил перед собой на валяющийся рядом кирпич философствующий товарищ. И снова похлопав рукой по карману пиджака, вытащил движением фокусника и поставил рядом с сырком непочатую поллитровку. "Разольем, что ли, этот трупный пот многострадальной нации?" и повел вокруг головой в поисках третьего собутыльника. "По рублику? по рублику?" стал приговаривать он то ли, как нищий, то ли, как дервиш, зазывающий на фокус с глотанием огня и, наконец, остановив взгляд на Максиме, произнес уже, не сомневаясь, утвердительно: "По рублику!" И Максим сунул ему в руку мятую бумажку. Они присели с Алефтиной на кирпичи. Супруг Эммы продолжал бурчать про тех сук, которые "распятого нам сбагрили, а пива на залив душевных ран не завезли".

"Семейные проблемы", качнул головой в сторону товарища инициатор разлива на троих и, вздохнув, достал из кармана подставку для яиц. "Из этой штуки мои албанцы кукол поют, албанцев имеешь, голопузых? детишек, то есть?" обращался он к Максиму, не ожидая явно ответа на свои вопросики. "А ну-ка, разлей, а я сырок разверну, юридически", и подставка для яиц пошла по кругу. "Ты мне наливай без шахер-васеров, ты полную наливай, юридически" и, принимая от Максима свою порцию, приговаривал: "Ну, артельные, махнем по одной, за албанцев". И они пропускали по одной, Максим поочередно с Алефтиной. "Девушка, значит, тоже употребляет? Похвально. А мне вот супруга всю плешь проела, юридически, со своими албанцами. Я от нее на птичьем рынке хоронюсь, меня весь птичий рынок знает, без шахер-васеров. Я каждую птицу за версту вычислю, мой дед тоже в птицеловах ходил. На вербное, я вас спрашиваю, кто поет? На вербное поет ворокушка. Соловьев подманываю, бумажки на деревьях намечаю, где соловей обитает. А на днях вот в лес приехал, а птички мои все передохли, юридически. От засухи и жажды. Вот мы и в запой. А ты чего такой квелый?" обратился он к Максиму. "Еврей, что ли? Ну и еврей, ты давай без намеков, я сам из мордвы, без шахер-васеров, махнем, артельные? Ты и ему полную налей, юридически", беспокоился он за супруга Эммы. "Он хоть с албанцами и не мается, поскольку таковых иметь юридически не в состоянии, но тоже семейный человек".

"Я ей пойду вот и скажу: отпускай пива за мою пролитую кровь", встряхивался супруг Эммы. "Если у меня и не стоит ничего, так это от недостатка прилива крови, которая вся пошла на тушение газовых печей гитлеризма. Я против евреев ничего не имею в лице Эммы, я возражаю против их недостатков как интернационалист из-за отказа поставить мне кружку пива на залив ран". Он уже закусывал пьяными слезами. "Ей бы, дуре, радоваться, что я сам пока на ногах стою: все мои кореши из штрафного батальона полегли как один, как тут моему единоличному члену стоять от такого траура? Штрафняку один бушлатик, а вместо валенок с сапогами тонкие ботиночки, как на бал, да и то перед самой атакой выдавали: в ботиночках этих не далеко по снегам убежишь. В воронке привозили на передовую и под дулами автоматчиков винтовку в руки, а то и просто наган и, милый, вперед за родину, за Сталина, за родину Сталина, Сталина ро-

дину, а не за свою. Оборотишься назад, тебя заградотряд пулеметами из блиндажей обратно чешет. А когда уже и заградотряд не помогал, тогда это и называлось стратегическим отступлением, прямо по собственным трупам. Чему тут после этого стоять-то, в кровавом снегу належавшись?"

Пустая бутылка цокнула, лениво отброшенная в сторону и покатилась по тротуару. Наступало время стратегического отступления по застывшей пустыне послеобеденного зноя. Они медленно продвигались к троллейбусу, преодолевая расстояние в дымной мгле, как под покровом снежной метели, и присыпанная пылью Москва, выбеленная солнцем, омертвела как будто в трескучий мороз, и где-то за спиной таился заградотряд с пулеметами наготове на случай малейшего уклонения от передовой. И только неясно было, где она, эта самая передовая линия. Алефтину подобная метафизика явно не заботила: она только чертыхалась, когда они влезли в переполненный троллейбус. Умело и рассчитанно толкающиеся пассажиры прижали Алефтину спиной к Максиму настолько целенаправленно, что их ноги переплелись, ее юбка задралась сзади, а его рука, пытавшаяся оградить Алефтину от напора спереди, не могла отлепиться от ее груди. "И долго мы так будем ехать?" спрашивала она, и по хрипотце голоса Максим угадывал, что на губах у нее блуждает та же улыбка, что сопровождала ее рассказы о соблазнителях, диктующих высокохудожественные произведения десяти пальцам. Поскольку в троллейбусной толкучке от этой темы нельзя было отделаться словесными экзерсисами, ее ягодицы все плотнее вжимались в его бедро и надо было срочно предпринимать решительные шаги на этот раз к выходу. Выбравшись из троллейбуса, они тут же нырнули в продмаг, тут же приобрели две четвертинки, тут же передумали и закупили сразу четыре; как во время перестрелки, ныряя в тень, добрались до темноты парадного, поворот ключа на четвертом этаже и — как забытый в суете дня ночной кошмар, их взор заслонила широкая и постылая спина святого Марка у кухонного окна силуэтом: Максим напрочь забыл про своего политбеженца и отказника-постояльца.

Только при полном затмении ума в состоянии дымной мглы Максим мог поселить у себя лысого балбеса уклониста Марка. Его лысины, правда, видно не было: на голове у него давно сияла ермолка. Злые языки утверждали, что ермолку Марк стал носить исключительно для прикрытия этой самой лысины. Но для него самого ермолка была еще одним доказательством рациональной прозорливости Талмуда: решение Марка прикрывать лысину ермолкой совпало с появлением пятен на солнце, которые и привели к засухе и солнцестоянию, и, если бы не ермолка, говорил Марк, его бы, как многих некоторых, давно бы хватил солнечный удар. В результате Марка не сумели сразить и другие удары судьбы, а не только солнечные. Эту ермолку он не снимал с весны ни ночью, ни днем, и, даже когда дело дошло до вызовов и допросов в связи с письмами протеста и голодовками во имя отъезда, и следователь потребовал от Марка немедленно снять головной убор в присутственном месте (наивно полагая, что кепка у него на голове и есть еврейский символ религиозной ермолки), Марк кепку послушно снял, но под ней и оказалась эта самая тюбетейка, на что оторопевший следователь процедил: "Все вы, евреи, с двойным дном". Человеком, на которого нет ни дна, ни покрышки, Марка действительно, можно было назвать лишь отчасти: хотя покрышку он уже себе обеспечил, но бездонной бочкой аргументов продолжал оставаться. С психиатрической точки зрения ему бы немедля приписали манию сутяжничества, что в переводе на советскую феню означало инакомыслящего, а в обратном переводе с английского называлось диссидентством. Так, по крайней мере, интерпретировал сам Марк свое несоглашательство с идеями своего папы. Папа Марка был доцентом по марксизму-ленинизму, и это привело к тому, что Марк с детства мечтал опровергнуть Маркса; со свойственной ему усидчивостью он прочел "Капитал", стал большим докой в прибавочной стоимости и на стадии перехода от рабовладельческого строя к феодальному получил звание, как и папа, доцента, но не этих, а технических наук и закончил тем, что вступил в партию. Чтобы опровергнуть учение об авангарде пролетариата изнут¬

ри. Пока Марк опровергал Маркса изнутри, его папа, выйдя на пенсию, вспомнил дедушку раввина и обратил свое марксистское лицо к сионизму. Инакомыслящему Марку пришлось срочно переключаться на опровержение Библии. Начал он, как всегда, с поисков логических противоречий: "Но кто-то все-таки узнал, что она обратилась в соляной столб?" тыкал он пальцем в жену библейского Лота. "Значит, кто-то, кроме нее, тоже оглянулся назад, да? От кого же иначе свидетельство дошло бы, от жителей Содома что ли, которые к истине задом поворачивались и провалились в борьбе за это в тартарары? да?" Пока папа не подсказал ему, что свидетельство и отсчет с места событий поступили от Бога. "То есть не со стороны, а сверху?" стал чесать свою лысину Марк. "Мне это в голову не приходило — сверху?" После этого он неделю распевал песню советских пилотов: "судить буду строго: мне сверху видно все, ты так и знай!" И вдруг сразу, без дальнейших аргументов, переквалифицировался в талмудиста. Чтобы опровергнуть Талмуд изнутри. Чем глубже он вгрызался в опровержение иудаизма с марксистских позиций, тем дальше уклонялся он от партийной линии, а когда дошел до решения стать символом опровержения этой нелогичной религии непосредственно на месте ее зарождения, его заявление на эмиграцию было обменено на партийный билет и увольнение с работы. Естественно, он был одним из первых, кто получил повестку в армию под визит в Москву штатского президента. Естественно, на повестку он не откликнулся, поскольку у него на этот срок была как раз и запланирована встреча с этим самым американским главой без ермолки, и, кроме того, в советской армии отсутствуют соответствующие условия для поиска противоречий в кошерной диете, которой он стал придерживаться, чтобы опровергнуть ее "изнутри", через желудок. Короче говоря, Марк и его напарники по идее гонялись за Никсоном в дымной мгле меж лотков Центрального рынка, а за ними гонялись военкоматчики с милиционерами. У Максима, однако, было такое подозрение, что Марк попросил у него политического убежища от своей собственной жены, которую Марк оставил дома

регулярно аргументировать на рассвете через дверную цепочку с нарядом милиции и представителем военкомата. Но поскольку Максим был холостяком, Марк немедленно отверг бы подобное предположение как зависть к его семейному уюту, в то время как стремление Максима оградить свой холостяцкий уют от тенденций Марка все опровергать изнутри, было бы воспринято им как политический обскурантизм в отношении советской власти. Короче говоря, было совершенно бесполезно объяснять Марку, что Максим предпочитает не превращать свою однокомнатную конуру в коммуналку вне зависимости от его, Марка, героического опровержения собственной жизни или жены. "Ты не бойся", говорил Марк: "на меня городского розыска пока не объявлено, да? Только районный, да? по прописке, да? Поскольку я у супруги прописан, они в твоем районе искать не будут". Как будто не его, а Максима разыскивала милиция, используя Марка исключительно в качестве маяка наведения. На этот маяк вместо милиции сбегались рекордсмены отъездного марафона: все как один в еврейских тюбетейках, как в жокейских шапочках, они таскали с собой тяжелые портфели с самиздатом, тамиздатом и Госиздатом с антисемитской подоплекой, которая разоблачалась ими в там-и-сям-издате. Максимом же овладевал постоянный страх, что в этот круговорот и циркуляцию издата закрутят по излишнему энтузиазму и его словари с энциклопедиями и справочниками. Слишком уж горяча была их любовь к печатному слову: с точки зрения этих визитеров, вся литература принадлежала ее распространителям, то есть им самим и больше никому. Сами же эти деятели, полагал Максим, принадлежали к тому новому поколению советских идеалистов, для которых предмета самого по себе как такового уже не существовало — в смутной советской действительности от предметов остались, с их точки зрения, одни лишь тени, и тени эти отбрасывались светом, исходящим исключительно из их горящих идеей глаз: книга, дом, женщина принадлежали лишь тому, кто правильно осветит этот предмет идеологически. И так как лишь их учение было верно, потому что оно было истинно, Максиму приходилось держать

ухо востро и глаз на стреме, чтобы не лишиться тех вещей, которые освещались всего навсего электрической лампочкой или солнцем из окошка. А может быть, он сам был загипнотизирован их взглядом на него как на вещь и старательно просиживал раскаленными вечерами в их присутствии среди дымной мглы идеологических шутих. Но самыми невыносимыми в этой циркуляции ермолок и самиздата были появления супруги Марка, которая периодически для контроля забегала во время перерыва на службе с авоськами, и между ними начиналась заученная наизусть супружеская перебранка.

"Ну хорошо, таки следят за тобой, ну? Что же, от гигиены надо отказываться, ну? И пуговицы на брюках нету, если бы не я — так бы и ходил с расстегнутой настежь ширинкой?" доносился из кухни переспрашивающий голос супруги Марка, и Максим пытался заглушить ее грохотом своей пишущей машинки в соседней комнате. Тем временем Марк сам переходил в наступление, заводясь все больше.

"Тебе всегда было на меня наплевать, да? И сколько раз я тебе говорил: вызови ты психиатра на дом, да? Трудно было, да? Позвонить и сказать: с мужем, мол, что-то странное, сидит, мол, иногда так, и сидит. И все, так? Нет. Тебе недосуг было устроить родного мужа в психушку.. Потому что тебе было наплевать на мой воинский призыв. А теперь меня будут забривать, да? и лагерять, да? и может, даже расстрелять. Так. И я буду там медленно помирать. Из-за твоего этого — наплевать. Да?" Этот идеологический поворот в споре обычно приводил супругу Марка в комнату Максима. Она грузно опускалась на стул, не выпуская из рук тяжелых авосек.

"Я прямо хватаюсь за голову", говорила она. У двери снова оборачивалась вопросительно: "И чего он в супружеское ложе ложится, не сняв тюбетейки? Ну как в гроб, ну как в гроб, ну?"

После ее ухода эти тягучие жалобы долго жгли мозги, как капли пота на лице у человека со связанными руками, и доводили до исступления: к черту детишек и молочишко, к чертовой матери матриархат и патриархат, к чертовой бабушке историческую родину марксизма и талмудачество Марка, который, как ни в чем не бывало, продолжал священнодействовать на кухне, принимая ходоков в тюбетейках, растолковывая им очередной талмудический казус, пока его супруга втолковывала Максиму семейную казуистику. В этом аду мечталось оказаться там, где нет ни родины, ни закона, ни бога, ни дома, где ты был бы защищен собственным оружием в руках, а вокруг была бы пустыня. И вот, всего лишь годом позже, раскачивая бредом солдатскую койку на волнах иудейских холмов, Максим жалел, что поддался наговорам смуглого ангела и стал вспоминать то, что поклялся забыть. Потому что, как ни старался он цепляться памятью лишь за юбку Алефтины в полдневном жару долины, глаза заслоняла ермолка Марка, которой полагалось быть здесь, вместо него, а она торчала везде, куда ни сунься покалеченной памятью, но только не среди коек солдатского барака. Собственно, он и не знал, где он, Марк, сейчас талдычит правду-матку, где сражается талмудическим аргументом вместо автомата в руках. Может быть, его супруге все-таки удалось засадить его в психушку в тот последний и решительный бой? Об этом обо всем не хотелось думать, но Марк влезал в стройный сон с Алефтиной не к месту, как всегда, он всегда был не к месту, а тем более тогда, когда они открыли дверь ключом, думая о холмах Иудеи только в смысле той песни песней, где героиня просит напоить ее вином и обложить яблоками.

Вместо иудейских холмов горизонт кухни заслоняла покатая спина Марка с холмиком ермолки на мощной макушке. Застигнутый врасплох поворотом ключа, он развернулся к двери, не успев отнять от глаз полевой бинокль, с которым не расставался целыми сутками, делая вид, что наблюдает за передвижением органов под окном. На самом деле он со скрытым азартом следил за лошадиными скачками: ипподром на Беговой в нескольких километрах от дома открывался из окна кухни как на ладони, и с полевым биноклем можно было даже делать ставки по номерам наездников. Именно так он и взглянул через окуляры бинокля, из-под ермолки,

повернувшись к Максиму с дамой у дверей: как на скаковых лошадей, — недаром они запыхались от бега; или, как на лилипутов, со своих сионских высот — мол, без бинокля вообще не разберешься, кто такие. "А, это ты", вздохнул он и отложил бинокль.

"А, это ты", отозвался разочарованным эхом Максим и стал выкладывать на стол четвертинки.

"А это кто?" прищурился Марк на Алефтину, заменяя дальнозоркий бинокль близорукими очками, съехавшими вовремя со лба.

"А это еще кто?" очередным эхом переспросила Алефтина, потому что входную дверь кто-то стал отчаянно молотить кулаком. Марк первым делом бросился к стенному шкафу, как и полагалось во время игры в прятки в детстве, но у него хватило ума остановиться под взглядом Алефтины, а вся испуганность первого движения перешла в рассчитанный пафос подпольщика: он требовал, чтобы Максим не открывал дверь без предъявленного ордера на обыск, не говоря уже об ордере на арест. Максим сказал, что не будет открывать дверь не потому, что это органы — органы так грубо в дверь не барабанят; он не пойдет открывать, потому что так барабанить может только супруга Марка, и его, Максима, для нее в квартире нет. Дверь пошла открывать Алефтина и монотонный монолог оскорбленного Марка перебила деловитая скороговорка из прихожей: "Выпить есть, старички? Из-за гойских штучек мильтонов я не столько в бегах, сколько в состоянии перманентного похмела, что ни день — то в гостях", и в кухню шагнул Эдмунд. Максим настолько привык к проходному двору в те дни, что даже не удосужился поинтересоваться, с чего это он ворвался в таком загоне: у Эдмунда всегда были свои дела с милицией. "Все свои?" огляделся тот и, не дожидаясь приглашения, откупорил первую четвертинку. Звук булькающей водки привел его в себя и ее в нее, их в них, и даже Марк засуетился: сработал рефлекс Павлова по выделению слюны, и, если бы не Эдмунд, они бы еще долго собачились, забыв про выпивку; но тут каждый сверхсрочным образом раздобыл себе посудину, причем Марку досталась

баночка из-под майонеза. Он и это воспринял как оскорбление и, перед тем как выпить, долго ломался, утверждая, что вообще-то говоря, талмудически, в связи с египетским исходом надо пить четыре стакана вина, но поскольку вино не кошерное, надо переходить на водку, которая вообще-то не годна для праздника опресноков в связи с брожением при изготовлении сивухи — да? — но, с другой стороны, водка вообще в Библии не упоминается и, следовательно, не запрещается, и поэтому лучше пить водку, чем некошерное вино, тем более если это формально не праздник опресноков, да? да? "Водку советскую вообще из нефти гонят", мрачно заметил Эдмунд, услыхав про непонятные опресноки и брожение. Марк же, заметив, что разливают уже по второй, смирился с банкой из-под майонеза и, догоняя, заглотнул свою порцию. Водка, по крайней мере, поначалу приносила утешение в этой духоте: жжение в желудке с очередным опрокидыванием стаканов усиливалось и чудесным образом уравновешивало дикую температуру снаружи. Максим с медицинской точностью знал, что это явление недолговечно и проходит на второй четвертинке, а дальше начнется обычное гудение, когда, вне зависимости от погоды, у всех глаза пучит и перехватывает дыхание, как у рыбы, выброшенной на берег, только вот берег тоже начинает двоиться и удаляться. И поэтому, пока блаженное равновесие солнца в небе и жара под сердцем еще не расстроились и в глазах еще не двоилось, обидно было, что дело явно шло к склоке: между Эдмундом и Марком шел полным ходом придирчивый обмен репликами.

Они как-то сразу невзлюбили друг друга, и пока Максим возился в углу со сковородкой под яичницу (пришлось счищать дикое количество застывшего за неделю жира и копоти), они успели пособачиться из-за бинокля. Эдмунд подхватил бинокль первым и стал растолковывать Алефтине скаковых лошадей, поскольку во всех таких делах он был большим докой, насчет карточных игр и ипподромов, галопа и аллюра, и при этом они перегибались через подоконник, преодолевая взором дымную мглу, так что неизбежно Эдмунд стал поддерживать Алефтину за талию и рука его непроиз-

вольно съезжала то выше, то ниже, и Алефтина явно относилась к этим комментариям с пониманием. Максим делал вид, что занят чисткой сковородки и разбиванием яиц: такая уж у него была должность — делать вид, что ничего не происходит, не ревновать и не перечить замечательным людям нашей великой эпохи; а Эдмунд был в те времена большой фигурой: он был иностранец, в том смысле, что непохож на всех остальных вокруг, он был экзотикой, что больше всего и ценится во всех метрополиях, и каждый считал за честь пройтись с ним по улице Горького; кроме того, никто лучше других не мог пролезть без очереди, что тоже крайне ценная сторона натуры в дефицитной жизни: Эдмунд в таких случаях бурчал нечто псевдоанглийское и, приняв его за зарубежного товарища по несчастью, очередь послушно расступалась — кроме, конечно, его районного продмага, где Эдмунда знали как облупленного, и его черному обличью доверяли так же, как в свою очередь Отелло доверял белокожей Дездемоне. Но и Марк тоже был не лыком шит: вокруг него к тому времени шебуршились инкоры, к нему шли ходоки, и сколько бы Максим не бурчал насчет караван-сарая, в который превращалась его квартира из-за талмудачества Марка, он не мог отрицать исторического значения его пребывания, которое привносило запашок всемирной заинтересованности в дымной мгле над нашей российской помойкой. И Максим терпел (и даже успел сгонять за еще парой четвертинок в продмаг), глядя, как с другого боку к Алефтине пристроился и Марк, и стал захватывать бинокль у Эдмунда. Марк при этом утверждал, что для него бинокль — орудие борьбы с дальновидностью органов под окном, в то время как Эдмунд, по его словам, прибегает к биноклю, чтобы не смотреть прямо в глаза действительности, туманя себе и другим голову (при этом Марк метнул взглядом в сторону Алефтины) бессмысленными скачками. Но, как пылкий демократ, он готов предоставить Эдмунду один окуляр бинокля для лошадей при условии, что другой окуляр будет в его распоряжении для контроля за органами, которые не дремлют. При дымной мгле за окном не было смысла ни в одном из окуляров, зато невооруженным взглядом было видно, как, пристроившись каждый к своей линзе, оба пытались поделить Алефтину между собой, напирая на нее каждый со своего боку, но из-за разницы в росте, мотались из стороны в сторону, пока все трое не потеряли равновесия и не плюхнулись на кушетку, а с нее на пол. Марк чертыхался, Алефтина неприлично хихикала, Эдмунд же, глядя, как Марк выбирается из-под Алефтины, съязвил: "Следите за своими органами!"

"А вы, собственно, где служите?" нахохлился Марк. "Не в этих ли самых органах"? Но Эдмунд на провокацию не поддался: "Я не служу", сказал он. "Я пою". И, как будто дождавшись объявления своего гастрольного номера, стал тараторить про песни порабощенных негров, про свою маму аидку и папу негра из хижины дяди Тома и, что негр по-американски — это кличка вроде жучки, на чем умственно и споткнулась нацменка из паспортного стола районного отделения милиции. Трудно было сказать тогда, как и сейчас, врет ли Эдмунд или нет, но вольный мотив пьяной байки как-то размягчал сдавленные мозги, улетучивалась озабоченность и начинала казаться "просто уморой" вся советская власть, всем им, кроме Марка, который слушал Эдмунда сосредоточенно, пытаясь, как всегда, опровергнуть его изнутри, как бы говоря: мне сверху видно все, ты так и знай! Встречаясь с каждым из них по отдельности, Максим воспринимал обоих как очередного (включая и себя самого) выродка все той же смурной мачехи, по имени Москва. Каждый в этой тюремной камере искал свой пятый угол, который ничем не лучше остальных четырех. Но тут он не мог не дивиться разнице. И прежде всего в физиономиях: физиономия работника технических наук Марка с волосиками из ушей и ноздрей, как будто проросших прямо из мозгов наружу, с сеточкой морщин на упрямом лбу, морщин, которые переходили по наследству от деда к внуку, и у деда свидетельствовали об удивлении перед мудростью мира, а у внука — о мудрости ничему в мире не удивляться; с вечной немытостью, связанной не с отсутствием мыла, а с годами, проведенными в учрежденческом закрытом ящике без света. И напротив — физиономия Эдмун-

да, на фоне этой инженерной непроходимости казавшаяся изящным фокусом, и при всей ее шарлатанской обточенности и мулатской неуловимости прямо-таки спасительным маяком (пускай черного мерцания), лихо зовущим в большое плаванье из мертвых морей талмудической справедливости Евангелия от Марка. Максим не любил некрасивых зануд. С безответственной веселостью, как всегда после первых рюмок, Максим отметил про себя, что Марку не удастся втянуть в юридическую загогулину правды и долга этого блатаря черных кровей, который чувствовал себя вольготно только на эстраде или цирковой арене, при скоплении публики, и поэтому превращал в эстраду и цирк любой разговор, на собственной шкуре познав, что собственное явное отличие можно скрыть, лишь выпячивая его до размеров уличного столба, которого никто в толпе на площади не замечает. И Максим догадался, что в этой дымной мгле советской скуки из-за дурной видимости, возможны такие столкновения, которые загадочней всех интимных загибов порочного ума, по которым он прогуливался наедине с Алефтиной.

Пока Эдмунд распространялся про свой успех среди народов советских республик, Максим поставил на стол яичницу и, убирая со стола пустые четвертинки, наткнулся в углу за холодильником на сверток, развернул и обнаружил не больше не меньше как внушительный кусок колбасы. Колбасу, как передачу на свиданке, приносила в дом супруга Марка. Марк, как всегда громко, чтобы было слышно через стенку Максиму, категорически отказывался от колбасных изделий ввиду их некошерности. Он даже делал вид, что кидал сверток в помойку. То есть не в помойку, а куда-нибудь в пыльный угол, игнорируя крики жены, что она, мол, за эту колбасу весь зад в учреждении отсидела. Она, однако, твердо знала, как женщина опытная, что ночью Марк непременно достанет сверток с колбасой и съест ее без остатка, не оставляя даже шкурки. Время от времени Максим просыпался по ночам, заслышав шаги и шуршанье на кухне, полагая, что у Марка бессонница, деятель, мол, размышляет над судьбами; и однажды даже решился поговорить с Марком, успокоить, вышел на

кухню и — застал его за этим самым занятием. Марк долго и мучительно доказывал ему кошерность этой продмаговской колбасы, уверяя, что она якобы прислана прямо с исторической родины, долго не отпускал, убеждая его попробовать колбасу и убедиться, что по вкусу историческая колбаса ничем не хуже нашей "любительской". Максиму тогда впервые стало его жалко, и он долго и восхищенно качал согласно головой, пока Марк не убедился, что Максим ему действительно поверил. Но в присутствии Эдмунда и Алефтины Марк не решился на аналогичный сеанс гипноза, гордо отказался от соблазнительной закуски и выторговал себе взамен половину яичницы на одного.

Потом пошли в ход сопревшие от жары яблоки. Чем больше Эдмунд употреблял словечек, от которых Максим с Алефтиной закатывались пьяным гоготом, тем сосредоточенней становился Марк, перебивая Эдмунда, выспрашивая у него паспортные подробности. Во всем происходящем его занимал лишь вопрос происхождения. Разобравшись в генеалогии папы негра и мамы аидки, он, например, стал убеждать Эдмунда в том, что тот "талмудически еврей". На что Эдмунд ответил, что это все так, если считать по маме, а вообще-то он московский, а по украденному паспорту негр. На что Марк заметил, что бить его будут не по украденному паспорту и не по маме, а по морде в наличии, но, явно смутившись цвета эдмундовской кожи, тут же оговорился и затеял длинный и путаный разговор о том, как мудро считать еврейство по матери, потому что в отце ребенка можно всегда ошибиться, а вот мать никогда не спутаешь. В результате выходило, что если в первом поколении отец китаец, а мать еврейка, то дочь будет считаться еврейкой, которая, если выйдет опять за китайца, может родить дочь, которая тоже будет считаться еврейкой, которая, если опять выйдет за китайца и снова родит дочь, которая выйдет опять за китайца и т.д. и т.д., в результате целенаправленными усилиями создадут за несколько поколений эмбрион чистого зоологического китайца, который все равно будет считаться евреем. Оттого, — поэтому сделала вывод Алефтина, — что ни страна — свои евреи. Но

Эдмунд, по ее словам, похож на Пушкина под небом Африки своей. Максима же вопрос происхождения вообще мало интересовал, и он лишь заметил, что в вопросе о еврейских половинках ему важно, сколько осталось четвертинок. И предложил снова разлить, "юридически". Все лихо подняли посудины, но Марк продолжал долдонить про то, что все, конечно, друг от друга отличаются, но евреи отличаются еще и тем, что от своего отличия никогда не отказываются, то есть обязательно наступает такой в жизни момент, когда надо бы отказаться, по всем разумным соображениям, но евреи как раз и не отказываются. То есть и другие тоже иногда не отказываются, сказал он, взглянув снисходительно на Алефтину, но евреи — никогда. На что Эдмунд выдал очередной этап своих похождений на подступах к Биробиджану, про то, как концертный администратор, по происхождению, казалось бы, из тех же, что и мама Марка, но взял и счистил "еврея" из эдмундовского паспорта бритвой "Аврора". На что Марк поспешил подчеркнуть, что его формулировка — необходимое и достаточное условие, и, если кто, значит, от своего отличия отказывается, тот и не еврей; что же касается негров, то у Моисея в Египте жена тоже была черная, но духовно она перешла в стан тех, кто не отказывается от своего отличия, и поэтому уже неважно, отличается ли у нее цвет кожи или нет. Но Эдмунд этого библейского приглашения на воссоединение с родственниками не понял и продолжал упорно называть машинистку из Биробиджана, которая пыталась переименовать его в американца, аидкой.

В любом другом случае эта тарабарщина об истине, измеряемой глубиной корней и могил предков, вогнала бы Максима в сон, заставила бы уйти в другую комнату; но тогда, когда он глядел на блестящие от водки глаза, вольный беспорядок на столе, плывущем независимо посреди кухни, мимо пыльного окна, вне всего за окном и с ними на борту, ему было плевать о чем, собственно, идет разговор; сами слова были неважны, то есть важны были постольку, поскольку упоминали о вещах, не имеющих никакого отношения к милиционерам за окном, трудодню в поле и съезду за кремлевскими

стенами; слова эти были отъездные, в том смысле, что увозили из ежедневной тошноты, слова щекотали воображение, как экзотические пряности, это был спор двух опытных путешественников в купе вагона дальнего следования: каждому было что рассказать про черт знает какие части света, племена и обычаи, чтобы заглушить монотонный стук колес. Эдмунд превращал ругань с Марком в цирковой номер, и Максим давился от глупого нетрезвого хохота. Как всякая империя и тирания, советская держава держалась только экзотикой и цирком, и ее подданные терпеливо расплачивались за прибавочную стоимость гнусной жизни анекдотами. Присутствие среди них кошерного негра превращало даже Марка с его доисторической родиной в сносный анекдот для застольной амнезии против несносности жизни.

"Я тоже машинистка", брякнула Алефтина, плюхаясь на колени Эдмонду, и пока тот излагал про общение с биробиджанкой во время банкета, успела расстегнуть ему рубаху, и, водя крестообразным движением пальца от ключицы до его пупка и от одного соска груди до другого, спрашивала: "А в Биробиджане пишущие машинки как работают: каретка там у них ездит справа налево или по-еврейски, слева направо?" Эдмунд подмигивал Максиму извиняюще, а Марк, чувствуя, что Эдмунд захватывает единолично эстрадную площадку, влезал между ними с ответами на вопросы весьма риторического порядка про Биробиджан. И совершенно напрасно он горячился: после четвертинки Алефтине все равно было, на чьих коленях, и подвернулся бы Марк по другую сторону стола, с расстегнутой рубахой оказался бы он. Вместо этого Марк пытался поставить Эдмунда на место по любому поводу. Как только зашла речь о визите американского президента, он тут же задал вопрос: "Вы подписали письмо протеста Никсону?" Но Эдмунд с интонацией простака, в которой всегда сквозила недоказуемая издевка, спокойно ответил: "Я? Я с Никсоном в переписке не состою". Когда же дело дошло до истории Эдмунда про полковника Удальцова с его китайской самописки, улыбочками и рукопожатиями, Марк не выдержал. Чем больше трепался Эдмунд, тем абсурдней и непосле-

довательней выглядела картина на одной шестой части нашей планеты. Вместо тоталитарного разгула и газовых печей советской пропаганды выходило анекдотическое недоразумение, а именно недоразумения и не мог вынести пророчествующий Марк.

"И руку вам подал, этот Удальцов?" спросил он нахохлившись.

"И не только пожал, но и потряс в пожатии".

"И вы ему пожали и потрясли — в пожатии?'

"А что же мне, плюнуть что ли в протянутую ладонь?"

"Плевать излишне. У них руки в крови так перепачканы, что один плевок не смоет".

Марк начинал раздражать. Прежде всего настойчивым протаскиванием моральных выводов из непререкаемых истин. Никто ведь не запрещал ему, собственно, молоть какую угодно болтологию и теологию, но раздражали Максима не идеи Марка, а его постоянное моральное подытоживание всего происходящего. Максим ерзал на стуле, глядя, как губы Марка корчатся в брезгливой усмешке при каждом взрыве хохота от эдмундовских баек; не для того, полагал Максим, он собирал в своей кухне бог знает кого, чтобы все неподходящее под мерки Марка выглядело, как поведение напакостивших детей, — но именно так все и выглядело под тяжелеющим взглядом этого талмудиста. Надо было получать удовольствие от лихой разнузданности Алефтины: когда еще это существо, затурканное дикой работой под диктовку, позволит себе вот так без оглядки скользить по комнате, босая с расстегнутой рубашкой, распускаясь под душным зноем кухни, как цветок кактуса раз в семь лет, не от воды, а от водки, ну и что? Как будто вокруг раскачивающейся от пьянки кухни не существует толпы, заглядывающей тебе в душу и в задний проход, как только расслабишь дисциплинарный корсет, — вытягивая шеи со следами, как у удавленников, пионерских галстуков в детстве. Но Марк относился к тому разряду советских спорщиков, которых чем больше бьешь по голове, тем сильнее они убеждены, что стоят на правильной платформе и их бронепоезд стоит на запасном пути. Они с удовольствием перечисляют число полученных тычков и затычин в доказательство собственной правоты, как фронтовик перечисляет свои ранения и контузии в доказательство того, что брал Берлин. Марк обладал талантом доводить людей до исступления своими идиотскими аргументами, раздражив собеседника до того предела, когда тому ничего не оставалось, как ругаться матом с пеной у рта; с этого момента Марк замолкал и сидел, довольно улыбаясь, под потоком помойной брани, выливающейся на его лысину, считая, что каждое ругательство — еще одно подтверждение его железной логики.

На этот раз Марк никак не мог сдвинуться с этого полковничьего рукопожатия. Как будто эта самая "нерукопожабельность" была одиннадцатой заповедью, и если все десять предыдущих можно было как-то обойти, то за нарушение этой одиннадцатой Эдмунду грозило побитие камнями. Максим с затаенным азартом следил, как рука Марка беспокойно сжимает горлышко четвертинки: швырнет или не швырнет? Тот глядел на Эдмунда со скорбным презрением. Потом подставил себе майонезную банку, плеснул туда водки и выпил, закусив, не глядя, некошерной колбасой. В кухне воцарилась тишина, которая не нарушалась даже жужжанием мух, сдохших от невыносимой засухи. За окном сгущалась тьма египетская. Вид у Марка был такой устрашающий, что никто не спешил подставить свою посудину для заслуженной очередной порции. И, воспользовавшись минутным замешательством, Марк тут же взял на себя роль педагога средней школы перед притихшим классом: его нравоучения сводились к тому, что подать руку полковникам внутренних дел — все равно что поклоняться идолам и целовать статуи императоров, что негигиенично в духовном смысле, а евреев тысячелетиями преследовали за гигиену; например, во времена инквизиции евреев, согласно инструкции, можно было отличить по тому принципу, что они слишком часто моют руки; а от рукопожатий, подобных удальцовому, руки не отмоешь. Но гоям этого не понять, сказал Марк. Вот он не подал руки своему следователю Сидельцеву, а тот никак не мог понять, с чего? И Марк стал детально излагать, как Сидельцев протянул ему

руку при входе на Лубянку, и как Марк сунул руку в карман и прямо посмотрел на протянутую руку, висящую в воздухе, и как мимо проходили коллеги Сидельцева и останавливались и спрашивали, в чем дело? А Сидельцев стоял, красный как рак, и бормотал: "вот руки товарищ не подает", и коллеги отходили, качая головами в недоумении. И Марк подробно описывал, как они шли по длиннющему коридору к кабинету следователя, и всю дорогу Сидельцев чесал свою руку, как заразную. Как будто Марк наслал на его руку проказу аароновым жезлом. И вообще в его пересказе встречи со следователем было нечто моисеевское, как будто он ходатайствовал перед фараоном. Торжественно подвел он свой отчет к тому моменту, когда в ходе заполнения протокола Сидельцев дошел до научного звания. Записав "доцента" в анкету, он поднял глаза на допрашиваемого еврея в стыдливом замешательстве. Слово за словом Марк повторял, что сказал Сидельцев: "Понимаю, гражданин, с чего вы мне руки не подали: вы доцент, а я всего навсего с неоконченным средним образованием". Марк пьяно хихикал, снова и снова повторяя это признание наивного Сидельцева, и чем громче хихикал Марк в тягостной тишине, тем сконфуженней выглядели все остальные. И заметив эту сконфуженность, Марк еще злее отстаивал свою непоколебимость. В то время как подобные Эдмунду типы со своим великодушным сочувствием к человеческим слабостям выступают штрейкбрехерами "в нашем многотысячелетнем бойкоте, объявленном духовной некошерности". И пояснил кратко Эдмунду, что тот, двойной ассимилянт и по папе и по маме, играет на руку удальцовым благодаря приблатненному наплевательству на свой пятый пункт и цвет кожи и своими биробиджанскими гастролями утверждает советский полуфабрикат еврейской республики, не говоря уже о том, что своими фальшивками из репертуара порабощенных негров отвлекает советское население от проблем собственных внутренних дел и их министерства, орудующего рука об руку с известно какими органами. "Пока ваш брат гастролер выбивает себе американское подданство через удальцовых полковников", наращивал голо-

совую мощь Марк, "я живу под постоянной слежкой, черт знает как, пуговицу себе не могу пришить, если бы не жена, так и ходил бы с расстегнутой ширинкой".

"И напрасно жена беспокоится. Ничего не вижу плохого в расстегнутой ширинке. Было бы ради чего расстегивать", пыталась Алефтина сдвинуть разговор на более интересную тему; воздух зашевелился от вольности нравов. Но тут Эдмунд в свою очередь решил поставить вопрос идеологически.

"Жена, ширинка, слежка, развел понтяру, ну прямо, как моя биробиджанка с ее штучками", заводился он. "Не хватило потрохов плюнуть в руку, ну уклоняйся теперь сикось накось". Особого смысла в связи между плевком и уклонением не было, но была некая безошибочная пьяная логика. "И не так уж плохо ты, как погляжу, уклоняешься: ходоки к тебе ходят, водяру бесплатно гложешь, ипподром за окном, и чего ты слюни распускаешь? Поуклонялся бы ты в моей двойной шкуре, с одной стороны военкоматчики, с другой — биробиджанка своими пятыми пунктами по инстанциям плешь проела, а в промежутке надо трястись по всем ухабам в разбитом автобусе на гастролях. Но я слюни не распускаю: мне даже нравится это дело — уклоняться. Ночуешь каждый день в новом доме, все тебе сочувствуют, встречаешь много новых интересных лиц", поглядел он на Алефтину.

"Вот именно. А то от вашего разговора все птички передохли, юридически", подмигивала обоим Алефтина. "Надоело, ей-богу. Ну прямо, как два алкаша у пивной: доказывают друг другу всемирную правоту без шахер-васеров, а на самом деле им бы только пива выпить с доливом после отстоя пены. Но вы хуже: у вас водка сохнет, а вы все лясы точите, кто за кого больше пострадал. Давайте, артельные, махнем по одной", потянулась она к бутылке.

"Так я в бегах с самого рождения", обиделся Эдмунд. "Но, слава богу, ни разу в армии еще не служил. Всегда на мастырках выезжал".

"Что за уголовный жаргон?" раздраженно переспросил Марк.

"А на мастырках. Как у меня повестка, я мастырю. Ну, к

примеру, самая коронная мастырка у меня была по бабкиному рецепту со стороны папаши: каждый день мазать горло тампоном, смоченным в спирте — от страшной ангины не отличишь, я так школу прогуливал. Есть и посложнее: шлют тебя на медкомиссию, ты заглатываешь тряпочку на ниточке, нитку зубами придерживаешь, и на рентгене — верное затемнение, как при туберкулезе. По-разному можно замастырить", задумчиво проговорил Эдмунд. На этот раз даже Марк замолк. "Но только на этот раз меня, видно, никакая мастырка на волю не вывезет".

"Да ты скажешь наконец, что с тобой произошло?" вмешался Максим.

"Откуда я знаю, что я, министерство внутренних дел что ли? Этот полковник Удальцов, он, видно, одной рукой мое заявление на перемену пятого пункта подписал, а другой телефонировал в мой районный военкомат, чтобы меня забривали в армию. Или еще куда подальше, чего доброго прямо в сибирскую национальную республику моей биробиджанки с ее аидышными штучками. Говорил я ей, нечего лезть в пекло поперек батьки-негра, а она все про кличку вроде жучки и что я американец. Американец, засунул в ухо палец! Вот что они мне скажут. Короче, возвращаюсь я вечером на нашу улицу, гляжу: а перед подъездом милицейская коляска и мильтон туда-сюда перед моими окнами шастает. Ну я и ушел в бега по добру по здорову. Моя биробиджанка, она мне по телефону сказала, что милиция от военкомата меня разыскивает, но я так думаю, может, они меня хотят выслать в Америку, как Солженицына. Чего я там буду делать со своими песнями протеста порабощенных негров?"

"Ага!" победно провозгласила Алефтина. "Вот вам, пижонам, и прищемили нос со всеми вашими разговорами про воссоединенную заштатность и историческую уродину. Как только скажут вам: уезжайте, чего же вы не уезжаете? — вы сразу: а чего, мы ничего. Потому что всем нам американские Палестины нужны не за океаном, а на собственной кухне. И нечего себе и другим голову морочить: вот она, Палестина наша — милиция, водка, танцы, обжиманцы!" кружила Алефтина вокруг стола, разливая по стаканам. "Кончаем разговоры, объявляю белый танец", и она устремилась в соседнюю комнату к проигрывателю: и вот голос порабощенного американского негра заурчал под барабан (в переводе на русский): "А я гляжу на вас, а вы глядите на него, а он глядит в пространство". Поморщась от проглоченной водки, мужчины взглянули друг на друга.

"У тебя ночь перекантоваться можно? Боюсь я милицейской коляски перед своим подъездом. Кроме твоей хаты, некуда мне сегодня хилять", заискивающе сообщил Эдмунд. Только этого не хватало. Но Максим не успел ответить, потому что ворвавшаяся обратно в кухню Алефтина подхватила всех троих за руки и потянула в нелепый хоровод.

Может быть, эта лихая пляска и изменила ход не только этого вечера, но и всей максимовой жизни. В этом танцевальном замесе было что-то шаманское. Алефтина пустилась вприпрыжку по кругу, руками захватывая Эдмунда и Марка за плечи; Максима же втянула в круг рука Эдмунда, подтолкнув лицом к лицу к Алефтине. После трех-четырех подобных прыжков под скачущую музыку все обливались потом: уже не от раскаленной подушки воздуха, но, так сказать, по собственному желанию повышая температуру пьяными коленцами. И как раскаляющая изнутри водка преодолевала жар снаружи, так вышибаемый танцем пот был оправданием взмокшего от духоты тела. И как во всяком лихом танце, никто уже не стеснялся расстегнутых до пупка рубах; Максим глядел на скачущую прямо перед ним Алефтину, на прилипшую ко лбу челку, на закушенные в старательной пляске губы, которые она слизывала языком, на скачущие перед глазами беззаботно расстегнутые пуговицы ее блузки, заявляющие об отсутствии лифчика; Алефтина косила по-лошадиному глазом на смуглые скулы Эдмунда, на блаженный отключенный оскал его губ: он уже отделялся от остальных и чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на очкастого Марка, грузно топтавшегося невпопад, подпрыгивающего с рвением, но безрезультатно, как будто это был не танец, а подножка громыхающего переполненного трамвая, откуда

его выталкивала очередь; он хрипел по-рыбьи раскрытым ртом, как будто убегал от милиции, на носу у него повисла капля пота, но он боялся оторвать руки от Алефтины и смахнуть эту каплю; в каждом прыжке его волосатый, нависающий над ремнем живот, казалось вот-вот грохнется на пол, если бы не рука Алефтины, заправляющая его вовремя обратно фамильярным похлопыванием; сам Максим, думаю, выглядел бы так же нелепо, если бы позволил себе следовать вовсю шаманскому заводу этой троицы — Максим же следовал ей лишь настолько, насколько его топтанье не разрушало этого хоровода взрослых людей, решивших в нелепом танце, обливаясь потом, приблатниться под нелепость собственной жизни. Этой нелепости не замечал в первое мгновение никто, и, конечно же, не замечала Алефтина; в очередном развороте ее губы, коснувшись его уха, прожужжали, "ты не против?" и в следующем па ее лицо, обернувшись к Максиму, не оставило сомнений в смысле этого вопроса: в ее взгляде была разнузданная провокация, намек и призыв на претворение в жизнь их усердных разговоров, и Максим, краснея (если в такой жаре и пляске можно добавить краски к щекам), почувствовал ее руку у себя между ног и, стыдливо уводя глаза вниз, заметил, что при всей хаотичности их притопов и прихлопов, ее бедро не отделяется от эдмундовских чресел, выводящих свою африканскую восьмерку в продвижении по кругу. Только он один не гляделся нелепо: если все остальные занимались чем-то вроде подпрыгивания, то Эдмунд с каждым тактом и музыкальным коленцем все сосредоточенней следовал иным неведомым для других законам движения, и Марк с Максимом, а может быть, даже Алефтина мешали ему, толкались и наталкивались на него, как в толкучке за мукой, пока он двигался сам по себе в поисках манны небесной, не глядя ни на кого, слушаясь лишь самого себя. Так или иначе они не успевали за его движением, и, отделяясь от них уже наяву, он выпустил руку Максима.

Отлетев по инерции в дальний угол напротив окна, Максим увидел всю комнату в закатном освещении, с багровым диском заходящего солнца сквозь дымную мглу, уличным

семафором твердящего: "проезда нет". Но этот алый отблеск отражался непроездным светом только на лбу грузного Марка, топтавшегося вокруг Алефтины и Эдмунда, уже не бравших его в свой, только им заказанный пещерный танец. Комната, погружавшаяся в сумерки, сама приобретала черты пещерности, и неказистые, на свалках подобранные шкаф и кресло и продавленный диван, покрывшиеся за дни дымной засухи слоем пыли, сливались со стенами и становились пещерными наростами с отблесками багрового костра или зловещего пожара из оконного проема. И этот первобытный отсвет, выхватывая из пыльного остатка дня мулатское лицо Эдмунда, еще дальше уводил его из здешних мест. Может быть, иллюзия усиливалась африканским освещением всей сцены, но с каждым шажком, с каждым вывихом бедра и выбрасыванием руки Эдмунд становился все недостижимее, как будто уходил в собственное тело, которое слушалось только себя самого и больше никого; он повторял одно и то же движение, как будто отряхивался от воды, но не как человек, а как дикое животное, вставшее на задние ноги, отряхивает резким вздрогом свой блестящий мех, и булатное поблескивание его кожи вызывало в памяти одно загадочное и неприличное слово "эбонит". Он отряхивал в этом зацикленном вздроге все кухонное, наше, собесовское и советское, потливость членов президиума на закрытых собраниях, пытливость пионерских линеек и кропотливость милицейских протоколов. Он оставлял все это отделившейся тройке, рвавшейся в отличники, в отличных, в иных. Он оставлял им доказывать их собственное отличие — он же не нуждался в доказательствах: с каждым извивом собственного тела он лишь возвращался к самому себе, окончательно переселялся в собственное отличие, эмигрировал в свою историческую родину, под небо Африки своей, которой не было названия, но которая обретала суверенитет и независимость с каждым витком долгоиграющей пластинки. На их глазах он сам по себе становился заграницей, оставляя всех у гаснущего костра первобытной обездоленности московских пещер. Он уже был заграничным посланником, вольным чужеземцем, перед

которым туземная рабыня Алефтина исполняла прощальный экзерсис в надежде, что он возьмет ее с собой в хорошие соседи, в далекие края. С рвением имитируя, как всякая туземка, замашки чужеземца, она не отступала от него ни на шаг, с полузакрытыми глазами заучивая наизусть этот уход в собственное тело, как в другую страну; ее прозрачная летняя блузка, окончательно взмокнув, стала еще прозрачней и, прилипнув к телу, обрисовывала напрягшиеся соски; ее босые ноги (она успела сбросить туфли), взлетающие вперекрест мечущимся рукам, создавали впечатление, что она вообще голая и ничуть этого не смущается.

И при этой голизне вдвойне нелепо гляделся прыгающий рядом Марк: в сползающих, разбухших на коленях штанах (в которых могли поместиться две Алефтины), в дачной майке и спадающих с носа очках, он махал хаотично руками, запрещая этот сакральный танец рабыни и чужеземца, выступая в роли шамана, совершающего ритуальные пассы в багровых пещерных отсветах, но похожий на тонущего, трепыхающегося на глазах у всей честной компании. Ведь это он был главным заговорщиком, ведь это он был проповедником и пророком ухода и отъезда, ведь это ему было заказано диктовать, как воспитывать в себе демонстративную непричастность к творящимся безобразиям; ведь это он знал, когда организовать сидячую забастовку в приемной президиума, куда отсылать копию письма протеста и как не ставить подпись под протоколом допроса. Но в этом творящемся безобразии танца выходило так, что он выглядел, как обыкновенный советский служащий, которому заказано до пенсии ломать коленца, махая руками под советскую дуду, в то время как какие-то выскочки из москонцерта вдруг на глазах сами превращались в ту самую идею "тамошней жизни", идею, одно упоминание которой обращало жизнь тутошнюю из нудной дуды в смертельную удавку. И его, задыхающегося, в этот танец другой жизни не принимали; как самый слабый школьник во время бега по кругу на пионерском стадионе, Марк остановился, глотая воздух порыбьи и, хватаясь за грудь, попятился задом в угол; Максим

не успел подняться, и Марк, споткнувшись о его вытянутые ноги, плюхнулся мешком на пол. "Воды!" прохрипел он.

Максим метнулся на кухню, по дороге щелкая выключателем. В резкой фотографической вспышке света кухня предстала потусторонним миром: тускло поблескивала недопитая бутылка водки, заляпанные тарелки, вывалившиеся на стол окурки из переполненной жестянки вместо пепельницы — раззор уже никому не нужного праздника, оставленного на полуслове, на недопитой рюмке, для других танцев в другом мире. Максим бросился к раковине, за стаканом воды для Марка, но тот, с пьяной выносливостью, ввалился за ним в кухню, двинулся, шатаясь, к столу, схватил первую попавшуюся посудину, и, не обращая внимания на предостерегающий окрик, опрокинул содержимое в рот. Неизвестно, чего там было, скорее всего недопитая порция водки, потому что от обморочного приступа он явно оправился, но зато окончательно опьянел. Он шагнул к Максиму, потный и сопящий, со сползающими на нос очками, и, властно опустив на плечо руку, загнал его к стулу в углу. Максим опасался драки: лицо Марка было искажено той самой обидой затравленного и задразненного младшеклассника, за которой уже ничего не остается, кроме сжатых кулаков — он долго терпел, он терпеливо трусил, он трусливо сносил тычки и затычины, и вот довели его до белого каления, когда, уже ничего не соображая, ничего не боишься и готов кусаться, царапаться и биться головой, и плевать, что скажет завуч и что высекут родители. Его одутловатая физиономия даже помолодела от этой гримасы злости, когда он, хватаясь за плечи Максима, чтобы не свалиться с табуретки, шипел, брызгая слюной. Он требовал прекращения "танцев-обжиманцев", перекрикивая тамтамы из соседней комнаты. Это был нелепый ультиматум, потому что требовал действий, скандала, выяснения отношений, что Максим считал занятием вульгарным. И еще более вульгарным было то, что подобные акции могут вызвать подозрения в ревности — неважно у кого, неважно насколько обоснованные, но сама мысль о том, что его могут заподозрить в ревности, то есть в заинтересованности в чем-либо, ка-

залась Максиму недопустимой, и он попытался отделаться от Марка ироническим пожиманием плеч: "Я что тебе, органы милиции, что ли?" Но Марка уже не останавливало и не усмиряло это безразличное пожимание плечами, как раньше. Глотая слова, он входил в раж, утверждая, что Максиму, конечно, трижды, трижды наплевать на соседей и милицию, но ему на органы не наплевать и, следовательно, не наплевать на соседей, которые, если эти танцы в три прискока, три притопа не прекратятся, вызовут милицию, и милиция немедленно поинтересуется, кто тут на легальном, а кто на нелегальном положении находится, мешая общественному спокойствию после двенадцати ночи в ходе уклонения от воинской повинности. Они затеяли бессмысленный спор, настучат соседи в милицию или не настучат. Максим утверждал, что еще нет двенадцати, и поэтому соседи будут терпеть как миленькие, но Марк утверждал, что уже слышал стук соседей в потолок. Максим выразил сомнение в уверенности Марка в том, куда именно стучали соседи, в пол или потолок, если вообще стучали. Согласно же Марку, он слышал стук своими ушами, и так как грохот от танцев уходит в пол, то соседи соответственно стучали в потолок — соседский потолок. "Их потолок — мой пол", устало сопротивлялся Максим. "Пол-то твой, а по яйцам, кому бить будут?" напирал Марк.

"Эдмунд тоже уклоняется, и ничего — танцует!" бросил Максим взгляд в сторону пещерных отблесков комнаты и тут же отвернулся: там парочка продолжала двигаться в стоячем положении, но сами движения явно соответствовали совершенно другой позиции. Марк повторил маршрут его взгляда, и лицо Марка, искаженное до этого пьяной гримасой, помрачнело и вытянулось, и от этого, казалось, протрезвело.

"Танцуете? А чего он, действительно, так лихо танцует?" хрипло проронил он и, откинувшись спиной к стене, застыл в напряженной мучительной позе, и вся его внешность, вдруг потеряв черты комизма, как на рентгеновском снимке проявилась своим скелетом: уставшим и стареющим человеком, который слишком долго играл роль курьера у великих идей и никак не может отдышаться. Глаза его устало косили,

а на носу обозначился багровый шрам из-под дужки очков.

"Да, танцевать я как-то не того", нахмурился он. "Это ты у нас гурман советской экзотики, цирлих-манирлих, переводчик у себя на дому. А мне ведь на каждое собрание, открытое ли, закрытое, ходить приходилось. А знаешь, как душно за закрытыми дверьми? Пот прошибает прямо, как сейчас", и он устало отер пот краем майки. "Я знаю ведь, ты надо мной хихикаешь, да? Марксизм, дурак, опровергал из-за папочки, теперь вот кошерность: мясо с молочным не ест, что, мол, за придурь. Надо мной легко смеяться. Ты как-то умеешь выживать сам по себе, а мне нужна идея, такая идея, которая всем видна и с которой можно спорить, чтобы, споря, защищаться. Может, это все и глупости про мясо с молочным и езду по субботам, но зачем же за это дразнить, если это помогает таким, как я, выбраться из партийного собрания?"

"Я не дразню", смутился Максим. "Мне просто иногда кажется, что ты от партийного собрания бежишь на собрание профсоюзное".

"Я уклоняюсь от машины советской военщины".

"Эдмунд тоже уклоняется. От этой самой машины".

"Да? если даже и уклоняется — уклоняется-то он по-блатному, в то время как я уклоняюсь идейно, понял? Для нас, старик, идея важней жизни, поэтому мы и называемся интеллигентами, мы с тобой интеллигенция, понял? И идея у нас на всех одна", и он указал пальцем в потолок, имея в виду явно не соседей. "И никуда от нее, идеи этой, не денешься. Нас, может быть, мало, человек, может, десять на всю страну, как сказал ваш писатель Достоевский, но мы не цирлих-манирлих и не просиживаем дырки в штанах в разговорах с теми, с кем поведешься — от того и наберешься. Я их знаю, они меня в детстве во дворе били и дразнили. Они тебе заливают "понтяру", как этот смуглявый изволит выражаться, и ты готов этого проходимца и ханыгу водкой поить и, извини, свою любовницу ему в постель подкладывать?"

"Алефтина мне не любовница", вставил Максим.

"То есть как?" запнулся Марк.

"То есть так. Я с ней не спал".

"А чего же она?"

"А чего?"

"Ну ведет себя с тобой так, как будто она твоя любовница. И тебе изменяет".

"Она со всеми себя так ведет".

"Да?" Марк погрузился в глубокую задумчивость. "Я сразу в ней почувствовал какую-то потерянность. Ей нужна поддержка, ей необходима вера в нечто непреходящее, она — нашего круга человек, человек идеи, и только мы можем дать ей эту духовную опору, понимаешь, мы, а не какой-то проходимец, москонцертный бард, у которого в голове один бардак". Бог ты мой, если и можно подорвать веру в собственную искренность и откровенность, то Марк сделал это самым примитивным образом; где-то в середине его обвинительных спичей Максим уже начал было стыдиться, что так склочно подозревал его в зависти и ревности, уже почти поверил, что Марк своей второй, библейской, сущностью действительно отгадал нечто опасное в Эдмунде, что он предостерегает, пусть неосознанно, но вполне обоснованно — от хаоса, в который все скатывались в те дни каждый своим путем. Но, судя по неожиданному повороту его риторики насчет "духовной опоры", которой он собирался обеспечить Алефтину, все эти предостережения были лишь плодом вольной интерпретации, вольного перевода Максимом все той же чиновничьей идеи Марка — иерархии, на этот раз иерархии даже в отношениях с бабами.

"Вот к чему ты клонил", с циничным облегчением процедил Максим. В этот момент там-тамы грамофонной пластинки вырубились: дверь в комнату захлопнулась и в паузе щелкнула задвижка. Марк с пьяной тяжеловесностью стал отделяться от стены.

"Ты что, думаешь, я тоже туда же, да? юбку ей задирать полезу? да?" Марк облизнул пересохшие губы. "Со своими цирлих-манирлих все для тебя вроде люди-человеки, но на самом-то деле ты одну гадость во всем человечестве подозреваешь. Во мне. И в ней тоже. А женщину легко извратить. Кем ты ее хочешь видеть, тем она и станет. Потому что ей себя не

жалко, она свою непричастность, как ты, не бережет. И ты этим воспользовался. Ты погляди, ты же из нее своими цирлих-манирлих блядищу сделал. И подонка своего по случаю привлек, да?"

Максим заерзал на стуле. Марк вел себя не по правилам, и это сбивало Максима с толку; Марк позволял себе некую высшую недозволенность: он из анекдотического недоумка превращался в серьезного назойливого обвинителя, он задавал впрямую вопросы, которые задавать не полагалось, потому что на них не существовало прямых ответов; если бы подобные ответы существовали, надо было бы согласиться с тем, что во всей этой дымной мгле советского бардака существовал какой-то высший, пускай злой, но смысл, некий заговор, где все мы соучастники; Максим же жил в твердой и циничной уверенности, что ничего, кроме ярмарки претенциозного отличия, где меняют друг у друга тришкин кафтан на гоголевскую шинель, ничего не происходит. Но глядя на затравленное и горделивое лицо Марка на фоне кухонного окна, где в душной тьме мерцали, как злые светляки, окна жилых египетских пирамид, Максим с досадой подумал, что может быть, проводя время в переводах и сопоставлениях анекдотических курьезов этой кунсткамеры, он не заметил слона из басни Крылова, не заметил, что давно стал гайкой и винтиком скрытого замысла, где его роль сводилась к тому, что его подкручивали и подкручивали, пока он не сорвется с резьбы и не выпадет за ненадобностью. Но Марка уже не интересовали устные переводы моральных уклонений Максима. Отточенно твердой походкой сильно пьяного человека, набирая с каждым шагом скорость, Марк устремился к запертой двери комнаты. Максим попытался приостановить это победное шествие к бытовому скандалу, опережая Марка, хватая его за локоть, бормоча про милицию, уклонение, розыск, соседей и органы; но Марка интересовали органы совсем другого рода. Он уже нещадно колотил в дверь кулаком.

"Что за хипеш?" раздался за дверью испуганный голос Эдмунда и загремела защелка. Марк распахнул дверь по-мили-

цейски — пинком ноги. В будуарном свете настольной лампы на кушетке возлежала Алефтина, заложив ногу на ногу, с юбкой, задранной до пупка и без трусиков. В отличие от мужчин женщины умудряются оказаться в голом виде в мгновение ока; Эдмунд же явно никак не мог справиться со своими, как он выражался, "зиперами", и его чертыханье относилось, скорее, не к ворвавшимся в комнату, а к молнии штанов. Максим тянул Марка обратно в коридор. "Что за хипеш?" с детским удивлением переспрашивал Эдмунд. Марк, набрав в грудь воздуху, пытаясь не глядеть в сторону голых бедер Алефтины, промычал:

"Сматывай удочки!"

"Чего?" Эдмунд действительно не мог понять, чего от него хотят.

"Нам надо срочно перепечатывать письмо протеста. У тебя мишущая пашинка в порядке?" заплетающимся языком и со строгой физиономией обратился Марк к Максиму. Такого загиба трудно было ожидать даже от талмудиста. Алефтина хихикнула. Эдмунд почесал затылок и тоже повернулся к Максиму, ища разъяснений и административных указаний. Тот беспомощно развел руками. Эдмунд, человек великих компромиссов, одной рукой придерживая брюки, другой пытался ухватить Марка под локоть и, отведя его в угол, громким шепотом уламывал: "Слушай, милый", обращался он как мужчина к мужчине, "я же по всем правам человека бабу уже не имел полгода", разъяснял он Марку. "Для этих целей обращайтесь к своим биробиджанкам с их штучками", официально громко пресекал его Марк. "Да не дает мне биробиджанка", жаловался Эдмунд, "уперлась и не дает. Говорит, до свадьбы не дам, сечешь? На понт меня берет с женитьбой". Но Марк был неумолим: "Так и должен поступать советский человек на ее месте", язвительно изрекал он. "Соблюдать моральный кодекс строителя коммунизма, чья ячейка — семья", афористично заключил он. Его качало. "Да я не против ячейки", еще на что-то надеясь, оправдывался Эдмунд. "Но как я на ней, биробиджанке, женюсь — без паспорта? Я ж объяснял, у меня паспорт на рассмотрении Удальцова". Лицо Марка скривилось в злой усмешке: "А вы и обращайтесь, гражданин, к полковнику Удальцову за своими половыми проблемами. В органы обращайтесь!" Если бы не негритянская смуглота эдмундовской кожи, можно было поклясться, что он покраснел. Даже Марк насторожился, как будто слегка протрезвел, и похлопал Эдмунда по плечу фамильярно: "Непонятно, что ли? Ты же самое завалящее письмо протеста сочинить не можешь, ни перепечатать и даже подписать не в состоянии, кишка тонка. Не нашего ты круга интеллигент, не понятно, да?" Эдмунд тем временем справился со своим ремнем, заправил рубашку и, не подымая глаз, сказал:

"Да чего ж тут, старичок, не понять. Ты, значит, доцент, а я с незаконченными средним образованием", и, не дожидаясь ответа, прошествовал в коридор.

"Ты куда?" заволновался Максим. "Ты же ночевать собирался", бросился он в коридор, но входная дверь уже захлопнулась за Эдмундом и зацокали его шаги вниз по лестнице. И тут же, как будто эхом, хлопнула дверь комнаты, за которой скрылась мощная и качающаяся спина Марка. За дверью раздался смех Алефтины, потом звук падающих стульев и потом — сопровождающий все детективные истории — грохот падающего на пол тела. Максим влетел в комнату. Алефтина сидела по-турецки на кушетке и надрывалась от хохота. И этот истеричный хохот не мог заглушить мощного храпа: храпа здорового пьяного мужика. В углу, заваленный двумя упавшими стульями, храпел Марк, сбитый с ног богатырской дремой, и в качестве бревна он мог бы послужить опорой не одной только Алефтине. "Ой держи меня, держи!" держась за живот, хохотала она и вдруг стихла, сползла с кушетки и, встав посреди комнаты, икнув, заявила:

"Меня тошнит". Она повисла на Максиме, как пальто на вешалке; спотыкаясь и наталкиваясь на стены, они устремились в ванную, к самому позорному месту всей этой пьяной истории в дымную мглу. "Ой держи меня, держи", продолжала бормотать Алефтина, пытаясь заговорить собственную тошноту. Она склонилась над ванной в позе вождя, произносящего страстную речь. — упираясь руками в края ванны и

предоставив остальной части тела дергаться в руках Максима. Тот предусмотрительно открыл кран; вода хлестала, заглушая ее звериные рыки: блевать ей было нечем, сплошная водка без закуси, и от этого ее выворачивало наизнанку. Она стояла, выгибаясь раком, как кошка, пытаясь вывернуться вся в струю воды из-под крана; Максим придерживал ее за бедра, стараясь не глядеть на эти судороги; но глядеть было некуда, кроме как на ее ягодицы, на аккуратную ямку перехода в крутизну спины, которая ходила из стороны в сторону, уходя под задравшуюся юбку; и ее зад, существуя как будто отдельно, двигался вверх и вниз тем вздрогом, настойчивым и повторяющимся, какой знаком мужчинам по совсем другим ситуациям с женщинами. Его правая рука сползла с бедра на ее живот, а потом, якобы поддерживая ее клонящееся тело, скользнула вниз, между ног, к курчавой щекотке лобка, в то время как левая рука ползла исключительно для равновесия вверх, к ее груди под блузкой. Он понял, что отдает себе отчет в этих воровских жестах по отношению к телу, попавшему в ловушку, лишь поймав свою туповатую и самодовольную улыбку в зеркале над ванной, когда обнаружил, что лифчика под блузкой не было. Ее зад продолжал вжиматься в него с невинной настойчивостью, пока все остальное тело мучалось в судорогах где-то там, в несуществующем для него аду тошноты. Он был настолько загипнотизирован соблазнительной нелепостью их позы и параллельной попыткой сломить любыми мысленными экзерсисами крепнущую несгибаемость члена, сквозь штаны тянущегося к ложбинке между ягодицами, что совершенно не заметил, как прекратились жуткие рыгания, что слышен лишь звук хлещущей воды из-под крана, что его рука у нее на лобке стала влажной вовсе не от водяных брызг и что ее грудь вжимается в его ладонь напрягшимся соском. "У вас у всех, что ли, сегодня ширинки не расстегиваются?" вдруг деловито спросила она. "У меня руки были заняты", извинился он с той же деловитостью и в качестве доказательства его пальцы загребли в горсть всю курчавую путаницу у нее меж ног. Он вошел в нее с противоположного фронта — с решительностью и триумфом партизана, долго и терпеливо отсиживавшегося в засаде, в тылу противника, дожидаясь, пока тот не истощит свои силы в изматывающей осаде города. Непоколебимый Марк отпал, неотразимый Эдмунд ретировался, и лишь он, Максим, входил в нее, наслаждаясь тем, что трение изматывающего разговора претворялось наконец в любовную смазку, предотвращая всякое уклонение — и блатное и идейное. И она лениво и со вздохом уступала ему с тыла, под журчание воды, или журчала она, а лениво постанывал он или даже хрипел (или это был храп Марка из соседней комнаты), готовый перехлестнуть своим напором воду из-под крана, наращивая силу всасывающего и слегка цокающего звука, звука качающего насоса совокупления. Этот звук и стал сбивать Максима с толку, потому что усиливающееся цоканье явно стало расходиться с темпом работы его насоса, это было явно чужое цоканье, скорее напоминающее цоканье сапог по асфальту, нежели его любовный наскок. Вот именно, цоканье сапог по асфальту, которое становилось все громче.

Максим скосил глаза к окошку ванной у своего плеча. Внизу, под фонарем троллейбусной остановки застыла фигура Эдмунда, сидящего на лавочке, похожего, скорее, на бездомного нью-йоркского негра преклонных годов, чем на москонцертную штучку в неладах с милицией; но эта нью-йоркская иллюзия рассеялась при виде двух милиционеров, заворачивающих с соседней улицы: они-то и издавали это размеренное цоканье, сбивавшее с ритма работу любовной помпы, которая стала путаться, как будто чертыхаясь. Эдмунд продолжал сидеть как ни в чем не бывало, ожидая своего последнего троллейбуса и не замечая, что происходит у него за спиной — он, видимо, разучивал очередной гимн порабощенных негров в фальшивом переводе с русского на английский, прищелкивая пальцами и притоптывая ногой, сам же заглушая цоканье невидимой ему угрозы. Приближение мильтонов видел только Максим и, вздрогнув, снова сбился с такта, ягодицы дернулись, пытаясь восстановить упущенное ответное движение, и Алефтина нетерпеливо забормотала: "ну? ну?" Максим же вспомнил упомянутую Эдмундом милицейскую

коляску у него перед подъездом и просьбу переночевать; и понятно было, что лучше бы ему не встречаться с этими мильтонами, потому что полночь и они явно поинтересуются его документами, и если, на него действительно объявлен уголовный розыск, ясно, чем дело закончится, и все это крутилось в голове, а перед глазами крутились ягодицы Алефтины, и он не мог от них оторваться никакими призывами совести и разума. Его возмущенный разум кипел злостью на Марка, из-за которого Эдмунд оказался один на один с мильтонами, и разум твердил, что главное сейчас — предупредить его, предостеречь, чтобы он успел смыться, пока его не заметили цокающие прямо на него в темноте сапоги. Это была главная задача, но для ее выполнения надо было освободиться от более мелкой, насущной заботы, чтобы затем приступить к осуществлению морального долга с незамутненным взором; короче говоря, он не мог отлипнуть от пляшущих ягодиц, кося глазом на сцену внизу и надеясь, что все вдруг чудом обойдется само собой, дали б ему только кончить. И он попытался кончить как можно быстрее, как будто уклоняясь от выполнения некой повинности, халтуря и торопясь, но кончить никак не мог, потому что весь был загипнотизирован сценой облавы внизу; и когда милиционеры оказались в свете фонаря у троллейбусной остановки, Максим не выдержал и все само собой прекратилось: вся сила, сцепившая его с Алефтиной, ушла в колотьбу сердечного страха за человека там, внизу. Она вслепую дотянулась рукой до съежившегося отростка его похоти, пытаясь вернуть его обратно, в себя, но он беспомощно выскальзывал наружу, и уже сам Максим, высунувшись из банного окошка, крикнул на всю ночную улицу: "Беги, Эдмунд, беги!" Он видел, как вздрогнул от собственного имени Эдмунд, как стал оглядываться по сторонам и заметил двух милиционеров; как один из мильтонов указал другому на светящееся окошко Максима и как другой бросился в сторону Эдмунда, рванувшего на другую сторону улицы, и сбил его, подцепив сапогом. И, уже отнюдь не сюрпризом, Максим услыхал цоканье милицейских сапог на притаившейся за дверью лестничной площадке. Он повернулся

к выходу из ванной и замер: в двери стоял, раскачиваясь, Марк. "Ты!" смог лишь выговорить Максим, но тот его явно не слышал: он стоял с помутненным взором, как маг и колдун в трансе, как будто претворивший в реальность примерещившийся ему кошмар, намечтавшийся макабр — с арестом за окном, с похотливым адюльтером в немыслимой позе; сколько он так стоял — неизвестно, и Максим, краснея в оцепененье под его взглядом, стал поднимать руку, чтобы нанести ему пощечину; и как будто следуя с готовностью этому мысленному движению, Марк, не дожидаясь удара, стал медленно сползать на пол вдоль притолоки и, грузно осев, снова захрапел как ни в чем не бывало. Рука Максима беспомощно опустилась на плечо Алефтине: та сидела на краю ванны, тяжело дыша от прерванного любовного бега, кусая губы и мотая головой — то ли от непонимания происходящего, то ли чтобы прийти в себя. "Милиция", потряс он ее за плечо и заметался по квартире. Она двинулась вслед за ним, одергивая юбку: "Ну да", чертыхалась она, "если три мужика не сумели, вся надежда теперь на милицию".

Раздался стук в дверь. Старшина был четок и вежлив: "Пьянствуем?" говорил он, оглядывая квартиру. "Уклоняемся?" И указав на храпящего Марка, коротко распорядился: "Разбудить".

Потом было все как полагается: милицейская "Волга", камера предварительного заключения, с запахом сухой штукатурки и мочи, юридически-кляузные наставления очухавшегося Марка: "Ничего не подписывать. Мы ничего не помним. Ты понимаешь, что у человека может быть ничем недоказуемая и никак не проверяемая полная амнезия? Маму свою не помнишь. Папу. Даже имени своего, скажи, не помню. Амнезия!" Максима подташнивало: "На какие случаи жизни, интересно, твоя амнезия распространяется?" начал было он, имея в виду сцену в ванной и разглагольствования под щелканье задвижки и все то, что отдавалось даже не сердечной чесоткой, а болезненным жжением между ног; все те нелепые положения, когда ее рука в штанах, твоя рука под юбкой, руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Но

ответа не последовало: Марка стали выволакивать из камеры, он упирался и требовал законности, и ермолка слетела у него с лысины. Максим подхватил эту жалкую тюбетейку, растоптанную милицейским сапогом на цементном полу, и попытался сунуть ее в протянутую руку Марка, но железная дверь уже захлопнулась. "Его дело — в шляпе", криво улыбнулся он Эдмунду, но тот сидел, как невменяемый, в углу, с перекошенной от страха физиономией; у него трясся подбородок. Его через минуту тоже уволокли за железную дверь.

Максима же и, как выяснилось, Алефтину продержали всю ночь, не допрашивая, а под утро выпустили. Расстались они на углу; Максим лишь сухо сообщил, что его заставили подписать заявление, где он не признавал себя ответственным и ничего не имел сообщить о намеренном уклонении и неявке в военкомат по повестке его знакомых такого-то и такого-то, которых он знает с такого-то и такого-то года. Ответственным он действительно себя не признавал и совершенно искренне мог заявить, что при всей его осведомленности в намерениях задержанных, вовсе не считал, что занимается укрывательством. Даже в благородно-антисоветском смысле. Ему вообще-то не было никакого дела до всех этих уголовных дел и тем более до сугубо личного дела Марка в шляпе. Но именно потому, что ответственным себя не считал, вдвойне нелепым и унизительным становился в его глазах факт собственной замешанности: поскольку выражался этот факт позорным жжением в районе ширинки — чувством нелепой беспомощности человека, который оказался причастным к политике из-за того, что был постыдно защемлен похотью в женских ягодицах. И то, что невозможно было отмежеваться от этой замешанности — потому что невозможно было изложить причины происшедшего ни следователю, ни другу, ни тем более жертве, Эдмунду — злило и зудило еще больше. Бесило даже не чувство предательства, а некая физиологическая причастность к тому, что по ошибке обернулось вовсе не тем и совершенно бесконтрольно, окончательно иным. Алефтину он видеть не желал; более того, вместе с уходом из памяти минутной любовной горячки вернулись тошнотворные детали

сцены в ванной, которые не долетали тогда, когда вся душа и ум и сердце уходили в яйца. И по какой-то психоаналитической причине никак не прекращалось жжение между ног, и несколько дней подряд Максим вставал утром перед зеркалом и внимательно рассматривал свой пенис, пытаясь отыскать болезненную красноту или еще чего-нибудь, связанное с венерическими заболеваниями, и в тайне был бы этой французской болезни рад, поскольку тогда можно было бы проводить день за днем в очереди на уколы в вендиспансере, ругая последними словами Алефтину, вместо того, чтобы думать, что произошло с Эдмундом, скрывшимся за железной дверью милицейского коридора. Если бы у него обнаружилось хоть какое-нибудь, но нечто венерическое, Максим мог бы с полным правом считать и себя жертвой случайных связей в дымную мглу, пострадавшим наравне с остальными участниками. Максим даже отправился в вендиспансер, с упорством и терпением высидел в очереди и долго переспрашивал дежурного врача, уверен ли тот, что у него ничего нет. Тот был совершенно уверен, но что-то ведь должно же было быть, какой-нибудь физиологический подвох, который послужил бы логическим мостиком между совокуплением раком и милицейскими свистками. Максим искал четкого логического перевода и никак не находил.

Как будто в поисках недостающих просторечий для перевода матерщины на другом языке, он отправился на квартиру к Эдмунду и, естественно, ни его, ни биробиджанки не обнаружил; соседи сказали, что Эдмунда не видно было с неделю, а биробиджанки тоже след простыл, укатила, наверное, в свой Биробиджан. Максиму ничего не оставалось, как отправиться в районное отделение милиции, где их допрашивали в ту роковую ночь, и потребовать сведений об исчезнувшем Эдмунде. Дежурный милиционер сначала вообще отказывался разговаривать, а потом сунул Максиму бланк на розыск без вести пропавших. Максим повертел в руках бланк и затем порвал его на мелкие кусочки на глазах у дежурного, на что тот пожал плечами и добавил, что если его будут отрывать от служебных обязанностей, он может и прив-

лечь настырного гражданина за совершение противозаконных действий, направленных на подрыв работы органов милиции. Максим хлопнул дверью, и в тот же день сидел в приемной внутренних дел, где ему тоже предложили заполнить бланк, записаться на очередь, обратиться по другому адресу, посту¬чать в другое служебное окошко. Хлопнув дверью внутренних дел, Максим сел за пишущую машинку и двумя пальцами отстучал свое первое письмо в высшие инстанции: письмо отнюдь не протеста, нет, просто официальное письмо, уведомляющее о событиях ареста и привода в милицию в ночь с такого-то на такое, с описанием допроса и с требованием указать ему местонахождение задержанного Эдмунда. Письмо было адресовано полковнику Удальцову. С уведомлением о вручении. Уведомление Максим получил довольно скоро, как, впрочем, и ответ, что если, мол, такой-то и такой-то гражданин находится под следствием, сведения о нем имеют право запрашивать лишь близкие родственники; если же речь идет о без вести пропавшем, то отправителя за извещение благодарят и сообщенные отправителем факты направят по соответствующим инстанциям. Конечно же, сведения об Эдмунде можно было бы раздобыть более простым и прямым путем, через всезнающих ходоков Марка, скажем, но к ним Максим идти не желал: розыски Эдмунда были его сугубо личным и интимным (через расстегнутую в ванной ширинку) делом между ним и вышестоящими органами — и больше никем. Кроме того, он ничего не желал знать о Марке, хотя его тоже, как Максим услышал из передач разных "голосов", держали под следствием; более того, тогда это известие даже вызвало у Максима злорадную усмешку: мол, так ему и надо, с его идеями, кто достоин, а кто не достоин "служить опорой для девушек нашего круга". В один из дней позвонила супруга Марка, визгливо кричала, что Максим разрушил их крепкую ячейку коммунизма, и Максим, не вникая и не ответив ни слова, повесил трубку. Неустанно и с упорством он продолжал рассылать письма в советские административные и законодательные органы: за внутренними делами последовал генеральный прокурор, за прокурором по надзору вер-

ховный совет, за верховным советом центральный комитет лично генеральному секретарю — и чем выше шло письмо, тем наглее и суше оно звучало. В ответ он получал одно и то же: "Ваше заявление рассматривается". Нужно сказать, что во всех этих требовательных запросах сцена в ванной предусмотрительно опускалась, как к делу отношения не имеющая; но в подробных описаниях бесцеремонного ареста и привода в милицию всей четверки имя Алефтины по необходимости упоминалось — и Максим, пытаясь восполнить ему одному известный пробел в описании событий, с каждым посланием (ввиду невозможности рационально объяснить причину своей настырности) становился все маниакальней, чего не мог не почувствовать читатель его энциклик в высших сферах.

И окончательный ответ пришел из неожиданной инстанции, куда Максим не направил ни одного запроса — из КГБ. Его не вызывали ни на Лубянку, ни на Кузнецкий мост. Просто однажды утром зазвонил телефон и голос, никак не назвавшийся, поинтересовался, не против ли Максим встретиться где-нибудь в центре для короткой дружеской беседы; голос не подразумевал отказа, и каждый советский человек прекрасно понимал с первых же слов, кто его приглашает. В ходе этой любезной встречи за чашкой кофе на втором этаже "Метрополя", где Максим бывал до этого всего пару раз (не подозревая о более важном государственном назначении этого кофе), белобрысый доверчивый человек объяснил свое желание познакомиться с "талантливым и многообещающим советским переводчиком" (Максимом).

"У нас сведения о людях отрывочные: от одного на следствии услышишь, у другого по телефону кое-что подслушаешь, трудно было нам на вас выйти, с вами сойтись", сокрушался белобрысый. "Но в последнее время, в какое дело ни ткнись — везде Максим. Встретились у Максима, передали через Максима. Так что вы для нас — самый главный сейчас человек. Вот и решили познакомиться. Понимаю, что вы без намерений к себе людей приглашаете. Но ведь у вас разные люди бывают. Приходят, возможно, и без намерений, а потом разгорячатся в споре и начинают нести всякую антисоветчину:

ведь всем глотку у себя в доме не заткнешь. В последнее время вы у себя мало кого принимаете, а жаль: мы с таким трудом на вас вышли. Люди-то никуда не деваются, будут собираться в другом месте, опять нам круги рисовать, деньги на подслушивание выкидывать, на другого человека выходить. Так что вы уж в себе, пожалуйста, не замыкайтесь, держите вашу дверь открытой". Максим слушал его молча, не мигая, и тот в конце концов как-то сам собой стих. Максим поднялся из-за стола: расстались они не прощаясь, и кофе остался недопитым. Вернувшись домой, Максим без страха и упрека приступил вновь к сочинению официальных запросов по второму кругу, поскольку уже истек первый срок официального ответа на жалобы советских граждан. Через месяц последовал второй звонок и второе приглашение в "Метрополь", на этот раз без кофе: белобрысый говорил недолго, и мысль его сводилась к тому, что напрасно Максим влезает в дела, которые к нему не должны иметь никакого касательства, и вступается при этом, между прочим, за типа известно какой репутации, прихлебателя, который предпочел бескорыстную дружбу советских народов фальшивым посулам американского дядюшки, и еще неясно, чем промышляет, ведя жизнь полного тунеядца и гастролера. Подводя итоги, белобрысый подчеркнул, что если и Максиму все у нас так не нравится, то почему бы и ему не отправиться туда, куда так жаждет отбыть его протеже, или туда, куда рвется другой его напарник по сионистским бардакам, которые, по сведениям милиции, Максим регулярно устраивает на своей квартире. "С каких таких пор я у вас прохожу по пятому пункту?" возмутился Максим. "Русского из себя строите?" по-еврейски, вопросом на вопрос, отпарировал белобрысый. "А кто Ленина в эмиграции на иностранные языки переводил? Не ваш ли дедушка, по фамилии, извините, Рабинович? от коей вы унаследовали лишь партийную кличку Нович?" На что Максим резонно напомнил, что даже если дедушка и был в эмиграции под собственной фамилией, то расстрелян он был на своей идеологической родине под партийной кличкой, и поэтому его внуку, Максиму Новичу, вызова от Рабиновича с исторической ро-

дины ждать бессмысленно. Но белобрысый сказал, что воссоединение с родственниками — дело мистическое, сегодня все Новичи в могиле, а завтра, глядишь, обернулись Рабиновичами из Могилева в Израиле, и, если не откликнешься на вызов с Востока Ближнего, можешь угодить на Восток Дальний, и белобрысый качнул оттопыренным большим пальцем куда подальше, себе через плечо за спину.

И в неком обратном переводе из прошлого снова в настоящее лицо белобрысого скуксилось в мудрой усмешке — копии лица русской бабушки Максима; так глядела она, когда вся семья бушевала вокруг нее, крича, что бабушка рехнулась: каждую копейку ничтожной пенсии старой большевички из меньшевичек она тратила, как это ни странно, на покупку чемоданов. Эти чемоданы громоздились пирамидами по всем углам ее маленькой комнатушки, пылились на шкафах и под столом, сужая ее жизненное пространство до кресла, на котором она восседала, поджав ноги, и отвечала на вопли родственников с упорством умопомешанной: "Для вас же, закоренелых космополитов и врачей-вредителей, закупаю чемоданы. Скоро за чемоданами в очередях драться будут, вы что — газет не читаете, олухи?" И скоро ей бы пришлось буквально есть и спать на чемоданах, заполнивших всю комнату, если бы не пришел тот день, когда вся страна зарыдала, оплакивая смерть вождя и учителя всех народов, космополитов, агентов иностранных разведок и морганистов-отравителей. В тот день бабушка призвала к себе внука, чтобы вместе поплакать, как полагал семилетний октябренок Максим, над смертью усатого дедушки, занявшего в семье место дедушки расстрелянного. Вместо этого бабушка, оказывается, решила устроить генеральную уборку чемоданов: вдвоем они стали выносить их, с блестящими застежками и ключиками в замках, на пустырь за заборами; там, сложив чемоданы в гигантскую египетскую пирамиду, бабушка облила их керосином или скипидаром, чем-то вонючим, поднесла спичку — и едкий черный дым с маслянистыми языками пламени пополз к небу, издавая змеиное шипение. "Теперь мы никуда не поедем?" почти плача, спрашивал бабушку Максим, в отчаянии следя

как лопаются и разваливаются с шипением и треском эти гигантские детские кубики, из которых в бабушкиной комнате он мог строить такие прекрасные крепости и замки. Бабушка не отвечала, гладила его по голове и улыбалась. С окрестных дворов набежали мальчишки, и Максим, цепенея от страха и восхищения, не знал, чему больше дивиться: костру в полнеба или бабушке, которая скакала по кругу с детворой вокруг костра и смеялась: не своим старым беззвучным смехом, а громко, как отец среди ночи. Она умерла на следующий день. Максим еще долго ходил после этого на пустырь и глядел на гигантский черный круг выжженной земли и пепла — как будто бабушка исчезла вместе с этим костром в небе, оставив на память расплавленные и искаженные крестики-ключики из-под чемоданных замков. Их быстро растащили приятели Максима по двору, и ему ни одного ключика не досталось.

Вернувшись домой после беседы в "Метрополе", Максим обнаружил на кухонном столе (а вовсе не в почтовом ящике) почтовое уведомление, предлагающее явиться в районное отделение для получения заказного письма из государства Израиль. По душной улице к почте шел уже не прежний Максим, дерзкий молчальник, грубиян и беспардонный говорун, но сомнамбула: на него подействовало уведомление, положенное на кухонный стол неведомой рукой; он перешел в ранг тех существ, которые в отличие от всех остальных советских граждан узнали о существовании потусторонних сил, распоряжающихся жизнью, минуя двери и стены, законы и логику. Поэтому перерыв на обед на районной почте он воспринял как еще одну ловушку, подстроенную свыше, но, однако, не предпринял ничего, чтобы от этой ловушки уклониться. Пристроился в длиннющую очередь к пивному ларьку у все того же Тишинского рынка, как будто за последней кружкой перед экзекуцией. И когда заметил двух приближавшихся к нему боком типчиков, понял, что вот, наступило, сейчас будут бить. "Застолби очередь", строго сказал ему один из них, который крепче держался на ногах, и Максим узнал, опять же не удивившись, все ту же парочку отечественных придурков, с

которыми распивал "трупный пот" в те далекие теперь роковые дни дымной мглы, на пару с Алефтиной. Супруг Эммы стоял поодаль и делал Максиму странные судорожные пассы выпученными глазами и плечами, как будто говоря "а ну пойдем-поговорим". Максим узнал их; узнал и солнце, все еще плавающее в небе, как плавленный сырок. Но они его не узнали. Они, видно, принимали его за какого-то старого обидчика, за того, кто "сбагрил им распятого человека, а пива не завез". И корявый, с подвизгом голосок снова строго повторил: "Очередь застолби, юридически". Максим оглядел этот пыльный скотский мир с раздавленным червяком очереди и двинулся за парой придурков, так и не застолбив своего места. Они следовали по бокам, то ли держа его под руки, то ли сами держась за него. Завернули за ларек. Там, за ящиками, у глухой стены, где бьют в морду по ночам и испражняются, его тюремщики остановились, один из них нагнулся за ящик и, как будто поднося Максиму ковш расплавленного свинца, приказал: "Пей!" Максим скосил глаза и увидал у своих губ полную кружку пива, чье благословенное золото было оторочено аккуратным кружевом пены. "Пей, без шахер-васеров", повторил голос из-за спины, и Максим выпил, не отрываясь. "Полегчало?" заглянули ему в глаза два товарища. "А мы с пивом завязать решили, юридически. Объявляем экономический бойкот подавальщице Эмме, чтоб не обзывала впредь своего супруга импортером. Будем пить взамен алжирскую нефть марки "Солнцедар", в ней природного газу больше, чем в ее пиве разбавленном, пузо от него пучит, вот три кружки на солнце киснут", и он указал на ящик, где действительно красовались три полные кружки. "Ты чего такой квелый? Перебрал вчера, юридически? Мы, объявили Эмме бойкот и так с корешем порешили: выйдем к очереди и кому всех хуже, тому излишки пива и предложим, без шахер-васеров. Вышло так, что у тебя на морде такое несчастье, ну такое несчастье, как будто ты вчера самогон из портянок употреблял". Максим позорно молчал. "И не удивительно; от такой жары все птички передохли, юридически. Меня весь птичий рынок знает, но кончаю с птицеловст-

вом — какое может быть птицеловство, когда весь соловей с весны передох? Перехожу на подледный лов. Зимы жду, как зарю коммунизма. Возьму пышню и на Московское море с первыми морозцами — я там такие ерики знаю, такие ерики! Я уже ездил туда, приглядывался: после нынешней засухи, что ни шаг — ерик, и не глубокий такой ерик, то есть как первым ледком затоны эти перехватит, рыба в них будет, как в ведре под крышкой, хоть руками таскай без пышни и шахер-васеров, юридически". У Максима на губах уже шевелилась ответная история про перелетных птиц, приземляющихся из-за моря на берегах Газы, сами в руки падают; но вспомнив, что его на соседней почте ждет приглашение отбыть в направлении этой самой Газы, прикусил язык. Кровь прилила к лицу: впервые Максиму приходилось держать язык за зубами, хотя ему и было что сказать. Он знал: проговорись он про то, что раньше было веселой историей, проговорись он про свой отъезд, эти случайные приятели отступят от него презрительно, как будто он лгал и обманывал, предавал потихоньку и плевал в кружку пива, которую ему с такой нежностью и наивностью совали в руки, углядев несчастье у него на лице. А если бы даже и не отступились презрительно, все равно бы не поняли и растолковывать бесполезно, и больше не собеседник он этим людям, потому что у них свои ерики, а у него — свои, и ерик ерику — рознь.

Он вернулся домой с приглашением воссоединиться с дядюшкой в Метуле, "чтобы в дальнейшем жить неразлучно", как говорилось в документе. Долго рассматривал атлас мира и нашел эту самую Метулу в северной Галилее; долго сидел над картой, раздумывая, выслано ли было приглашение по белобрысым каналам или же благодаря расторопности сведущего Марка, заказывавшего вызовы заранее всем подряд на случай советского геноцида. Ясно было одно: органы побывали в его квартире, с обыском или без, и приглашение попало к Максиму через их руки, Не то чтобы угрозы белобрысого звучали слишком страшно, не то чтобы Максиму предстояло выбирать между посохом и тюрьмой. Но его жизнь превратилась к тому времени в некую затянувшуюся

бюрократическую процедуру, где его должность состояла в сортировке однообразных уклончивых ответов различных министерств и верховных советов на его очередные вспыльчивые запросы о судьбе исчезнувшего негра-еврея. Он никого не видел: отчасти из-за того, что не мог объяснить другим, почему его бюрократическая война с советской властью носит такой интимно маниакальный характер. Он никого не видел, чтобы избежать вопросов, почему он никого не видит. Но, главное, у него пропал интерес и к самому себе, то есть — к предмету переписки с властями; нас ведь занимают перемены, а тут, что с ним не случись — он всю жизнь будет как проклятый рассылать письма в разные инстанции и вспоминать про себя непростительную бредовость эпизода под цоканье милицейских сапог, на досуге отстукивая двумя пальцами переводы даргино-дагестанской поэзии и каракалпакской эпики. Так и сяк рассуждал он про себя, отмахиваясь от простого слова "позор", припечатавшего его, казалось, навсегда. И, взглянув еще раз на карту Галилеи, Максим выбросил свою затянувшуюся бюрократическую тяжбу в помойное ведро и отправился в Отдел виз и разрешений. И через месяц, как во сне, в почтовом ящике забелела открытка с адресом, надписанным заранее его собственной рукой, как подпись расстрелянного под собственным приговором — приглашение явиться за визой. Потом была колючая поземка по дороге в аэропорт, снежная мгла вместо дымной: с той самой ночи небо за прошедшие месяцы не очистилось ни разу; после дымной мглы зачастил дождь, грязный, в каждой капле бродил песок и пыль и пепел дальних пожаров, и вода сочилась, как из испорченного водопровода, вместе со ржавчиной небес, а потом, с октября, небо заиндевело и, наконец, рассыпалось ранней поземкой, смывающей расстояния и все делающее одинаковым. В его отъезде не было прыжка на тот свет, просто проталкивание сквозь таможню вместе с караваном нагруженного узлами и чемоданами египетского исхода, где он был чуть ли не единственным, кто чувствовал себя египтянином. Только в отличие от библейского исхода это отбытие не обошлось без провожающих, которых было

больше, чем исходящих, и глядели они на отбывающих через пуленепробиваемое стекло как на редких земноводных тварей в зоопарке, плача при разлуке со своими доисторическими предками, среди которых затесался почему-то и Максим. Среди провожающих была и Алефтина — как единственное напоминание, почему он, собственно, и оказался в этом отделе зоологии. Пришла она в последнюю минуту с заплаканными глазами и успела сказать, защищаясь усмешкой: вместе с ним отбывает ее единственное средство передвижения на Запад. На что Максим зло съязвил, что у нее для этих целей есть в запасе еще и Марк, если она, конечно, отобьет его у советского милитаризма и у склочной супруги.

Ощущение, что отбывает он в глушь, в Дагестан, в ссылку, нарушалось лишь английскими надписями над сувенирными ларьками за таможенной перегородкой; у прилавков крутились русофилы из туристов. Один, по виду из третьего мира темнолицых, набивал в бумажный продмаговский пакет гору матрешек, ложек и расписных мисок; он уже отходил от ларька, когда пакет, как и следовало ожидать, лопнул, картонное донышко отвалилось, и матрешки, цокая по мрамору, стали разваливаться, размножаясь на глазах в разных направлениях. Толпа добровольцев окружила чернокожего, подхватывая разбегающуюся армию и возвращая ее, как пленных, главнокомандующему. Подкатилась одна из расписных баб и к ногам Максима: нижняя половина матрешки укатилась в неизвестном направлении, и он нагнулся за верхней, присев на корточки, а когда поднял глаза, увидел чернокожего, с благодарной улыбкой протягивающего руку за находкой — в другой его руке была нижняя, улетевшая в другой конец половинка. Их оставалось соединить. Максим всматривался в ухмыляющуюся физиономию гражданина третьего мира в блестящем пиджаке, и вот, как в пустынном мираже, как в чуде проявляющейся фотографии, лицо его обрело знакомые черты: хорошо рассчитанная беспринципность в прищуре глаз, нахальная открытость чеканной улыбки, российские ямочки на скуластом лице мулата, лице московского шалопая, рожденного в негритянской шкуре. Перед ним стоял Эдмунд. Или его двойник? Или Эдмунд? Лишь в это мгновение до Максима дошло, что он действительно отбыл, что он уже находится на том свете, куда в образе и во плоти являются все те, с кем не удалось рассчитаться и выяснить отношения в оставленном мире, желаешь ты того или нет. Но стоящий перед ним мулат, гибрид третьего мира призраков и двойников, вовсе не соглашался на спиритуалистическую роль. Он хлопнул Максима по плечу и звонкая скороговорка Эдмунда обрушилась на него, как гора матрешек из продуктового пакета.

"Старик, ну просто умора, и ты с нами туда же? Ты извини, не дал знать про свой отъезд, но моя биробиджанка такую понтяру развела — то купить, се купить, раскладной пылесос, говорит, в виде пуфика в Штатах бешеные деньги, всю Москву за ним обегала и во все очереди по записи меня закандачила — даже тут вот про матрешки всю плешь проела". Он осторожно вынул из оцепеневших рук Максима половинку расписной матрешки и соединил ее со своей половинкой, как некий шпионский пароль. Повертел матрешку в руке: "На Алефтину похожа? Хорошая была девушка. Ты не думай, я не скажу: пьяный был, ничего не помню. Жаль, что толком с ней не познакомился. Из-за этого твоего толмача: большой ученый! Я тебе честно скажу: когда они меня в мильтонской коляске в военкомат доставили, перетрухал я на всю катушку. Никакие, думаю, мастырки уже не помогут. Наголо меня обрили, буквально, видишь — еле-еле кудряшки сейчас пробиваться начали, за полгода. На медкомиссию гонят без трусов, повесткой прикрываюсь, и, если бы не моя напористая биробиджанка, громыхать бы мне прикладом по сапогам где-нибудь под Тулой. Где, говорят, твой паспорт? У-у-у Удальцова, говорю. Позвонили Удальцову. И моя аидка в срочном гойском порядке под мою расписку подвозит паспорт в военкомат. Отводят меня в кабинет к главному. Встречает меня военком в сапогах со скрипом и жутким криком: повестки шлю — не являешься, кричит, мастыришь, а сам по бардакам шастаешь, сказавшись больным, тунеядец, певун, понимаете ли, а ну давай паспорт!

Одной рукой хватает у меня паспорт, другой заполняет назначение на мое имя в тульскую военчасть. Дошел до графы национальность, раскрывает паспорт на соответствующем месте, и тут, вижу, он весь белеет, как кафель в районной поликлинике. Потом встает во весь рост, как перед партийным руководством, одной рукой мнет в комок заполненную на меня бумагу, а другую тянет мне через стол и дрожащим голосом обращается ко мне, как будто с трибуны съезда к иностранным делегатам: товарищ, говорит, геносе, комрад и френд, в решительную минуту Родина вас не забудет. А пока не настала минута опасности и промедленье смерти подобно, дверь отсюда для вас открыта настежь, говорит, идите отсюда куда подальше на все четыре стороны нашей необъятной Родины, пожалуйста, трудитесь на ее благо подобру-поздорову, пойте и развлекайте, но не забывайте развлекать и себя. В Третьяковской галерее Кукрыниксов видели? Осмотрели ли церковные ансамбли Суздаля? Рекомендую, говорит, приобрести изделия палехских умельцев, а также гжель. Загляните в Гусь Хрустальный и Царь Колокол. А я его руку тоже не выпускаю и ласково так говорю: "Эн, нет. Вы от меня так дешево не отделаетесь. Понимаете ли, негр — это кличка, вроде, как жучка, черномазый, короче. Так вот: у вас много на меня бумаг и анкет заведено и везде выставлено — негр. Кличка. Это ранит мое национальное самолюбие и фактически неверно по паспорту". Чтобы устранить это обидное недоразумение, говорю, надо переправить "негра" в этих ксивах на "американца". Ну просто умора. Военрук чуть не поседел; опупевшие военкоматские нацменки часа четыре в моем присутствии сидели и исправляли во всех моих досье "негра" на "американца". И на каждой, заметь, папочке строгая надпись: "совсекретно", и в каждую эту совсекретность, получается, пролез американец. Больше они, думаю, меня не тронут. Но моя биробиджанка, с ее аидышными фобиями, заявила, что органам палец в рот не клади, и нам надо срочно из Москвы мотать куда подальше. Я ей говорю: ты, говорю, трекнулась, хватит с меня, науклонялся, куда мне еще мотать с освобождением от военкомата в кармане? вот по радио, говорю, говорят про желающих отправиться в кругосветное путешествие, так что, говорю, ты тоже будешь туда заявление писать? Какое, говорит, кругосветное путешествие, где? По радио, говорю. Она включила радио, а там, действительно, приглашают отправиться вокруг света. Она меня тут же потащила по указанному адресу. Приходим в контору неподалеку от Лубянки: здесь, спрашиваем, в кругосветное путешествие для желающих? Здесь, говорят; заполните анкету и ждите ответа. А в анкете, глядим, паспорта не упоминается. Мы говорим: а как же паспорт не указывается? А паспорт, они говорят, не нужен. Как не нужен? А так, не нужен, говорят, все равно на берег экскурсанты не высаживаются, мир вокруг света с борта советского лайнера. Так мы и оказались в кругосветном путешествии. Во все порты заходили. Климат менялся чуть ли не каждые сутки. И каждую ночь моя аидка мне спать не давала: вспоминала вслух все, что увидала на берегу из бинокля, а так как в портах ничего даже из бинокля не увидишь, потому что смотреть не на что, то воображение у нее злопыхало, как паровой котел нашего лайнера. В койку к себе меня не пускала и долдонила сутки напролет: надо ковать железо, пока руки не связаны, и если я хочу овладеть ею целиком и полностью сочетавшись, надо по возвращении строчить депеши на получение выездной визы для воссоединения с моим американским гражданством. То ли от этого ее долбежа, то ли от полового воздержания, а может, просто от морской качки, меня стало регулярно тошнить, и где-то в районе Сингапура, глядя на банановую рощу на далеком берегу, вспомнил я хижину дяди Тома, своего прадеда по отцовской линии, и согласился. В Москве пробыли всего сутки: она настрочила заявлений куда надо за моей подписью и потащила меня отсиживаться в Биробиджан — то ли ей с родственниками проститься, то ли, чтобы нам обоим не класть палец в рот органам. Родственники у нее в свиносовхозе работают: откармливали нас кошерной свининой на убой и ругали американский империализм. Пока нам московские соседи не переслали ответы всех инстанций, и все ответы как один положительные. Ну просто умора. С этого момента род-

ственники перестали клеймить империализм и стали заказывать джинсы и дубленки, как будто мы уже в Штатах. В аэропорту сейчас, как будто прямо с биробиджанской свинофермы: Москвы по сути не видел, сплошная беготня за пуфиками в виде пылесоса, ГУМ, ЦУМ". Эдмунд поболтал в воздухе матрешкой. "Вот возьми, сувенирчик. Все хотел забежать, попрощаться, надо ведь, думаю, а потом решил: как в Штаты прибуду, пошлю тебе пару джинс. А теперь вот — матрешки! А ты куда? В Нью-Йорк или в Калифорнию? Меня-то штат Нью-Йорк усыновил". Максим, который ни разу не перебил этот гимн дружбы народов, сипло выдавил из себя про дядюшку в Метуле. "Это в каком американском штате?" переспросил Эдмунд, успев скаламбурить про Тулу-Метулу. Максим промычал про Ближний Восток. Эдмунд пожал плечами: "Не, меня в ваш Жидостан не затащишь, представляю: жара, а кругом одни биробиджанки. А потом, там же в армию забривают, а я, знаешь, один раз уже обрился, науклонявшись. Ну, старичок, пока. Свидемся в Америке?"

Слово "Америка" срифмовалось в памяти с полузабытым "ериком" и отозвалось паникой: все попались в ерик, только Эдмунд увернулся, отыскал великую мастырку, эврику, а он, Максим, не смог увернуться, его в этот затон, ловушку заманили, поскольку существовал некий заговор с целью его, Максима, скептичного и циничного, унизить и дать понять, и щелкнуть по носу, а он, дурак, все ночи напролет строчил на пишущей машинке "Эрика" запросы в высшие инстанции, пытаясь загладить навязанную ему выдуманную вину. А ничего на самом деле не произошло, все остались при своих ериках, только его выудили, а мог же жить себе и переводить с колпацкого на переколпаковский по подстрочнику, а теперь что? Петухом кричали громкоговорители, объявляя о прибытии и отбытии турбореактивных бронтозавров. И Максим в третий раз проклял Марка, своими воплями "эврика!" заманивающего всех в ерики, которые на самом деле оказывались не более чем Америкой. Максим глядел сквозь мулатскую улыбку и протянутую руку, а тем временем пальцы его руки, запрятанной в карман пиджака, мяли и раздирали какой-то

клочок материи. С раздражением он вытащил из кармана этот матерчатый лоскут; разжал ладонь и комок развернулся и распрямился в ермолку Марка, подобранную из-под милицейского сапога в камере предварительного заключения. Как будто стыдясь этого средневекового рудимента идеи отличия, он поспешил засунуть ермолку обратно в карман; но Эдмунд жеста не понял и бросил с обидой: "Ты, что ли, тоже в доценты записался, руки не подаешь?" Максим отвел руку, то ли чтобы дать ему пощечину, то ли отмахнулся от него в тоске, но тут их разделила толпа с тюками и чемоданами, и рука вместо этого задралась в лихом приветствии...

..."Шекет, шекет, шекет", услыхал он перед собой доисторически шипящий призыв к тишине и спокойствию. Его вздернувшуюся с непонятными намерениями руку сдерживала мягко и неумолимо смуглая кисть, эдмундовская по колеру, как и лицо человека, вырезанное в просвете открытой двери на заднем плане. Максим лежал на своей армейской койке в солдатском бараке, и над ним склонялся его смуглый командир. Он сообщил Максиму на своем птичьем языке пустынных холмов, что тот бредил о бабах и неграх, что, впрочем, естественно после солнечного удара, когда в глазах темно. Потом помог ему заправить койку и собрать ранцы, плащ-палатку и т.д. и т.п. и даже сам разобрал и собрал, прочистив и промаслив, личное оружие Максима; поддерживая его под локоть, отправился с ним в каптерку, чтобы тот рассчитался за свое солдатское имущество, отбывая на медкомиссию. Они шли мимо притихших пустынных бетонных бараков, стараясь держаться в тени — от солнца, которое начинало припекать, съедая очередную порцию зелени, превращая ее в шелуху лета. Неподалеку, за холмами, бродило эхо отрывистой команды и бряцанье амуниции: военное учение продолжалось без Максима, чье имя перекликалось с маркой советского пулемета. Его вновь тянуло затеряться в перебежках из одной весенней ложбинки к другой крутизне, закружиться в хороводе теней между холмами, чтобы вышибить пот вернувшегося в бреду воспоминания, отбить примерещившийся московский дурман зноем песка и раскаленного

ружейного ствола, вновь оглохнуть среди артиллерийских взрывов коренастых олив. "Может, все и обойдется?" заискивающе спросил он командира по дороге к воротам проходной. Но тот лениво ответил, что сегодня у Максима — солнечный удар, завтра, того и гляди, инфаркт, а отвечает командование, и пусть медкомиссия решает. Его наверняка переведут в отряды Гражданской Обороны. Сокращенно — ГрОб. Командир оставил Максима дожидаться джипа, похлопал на прощанье по плечу и зашагал в своих пижонских сапогах вишневой кожи в сторону холмов, которые были прекрасны тем, что не имели никакого отношения ко всему тому позору, который остался в Москве. Снова Максима изгоняли за некую провинность, отлучали за уклонение — как будто этот вспомнившийся в бреду позор был признанием за подписью преступника, переданное по начальству, и дело было рассмотрено и был вынесен приговор о недопущении; и даже трусливое сомнение, промелькнувшее в уме еще тогда, в московском аэропорту, сомнение, проклинавшее свою собственную замешанность в случившемся и во всем том, что обернулось отъездом, это мгновение трусливой паники служило для верховного командования верной уликой для вынесения приговора: сорокалетнего блуждания в пустыне. Но пустыня пустыне рознь и одиночество не есть уединение. Наш герой потянулся за пачкой сигарет и наткнулся на забытый в кармане конверт. Вскрыл конверт спичкой, разрывая его по верстовой оторочке края; пробежал глазами неуверенное приветствие Алефтины "после стольких лет, стольких зим" (хотя минул всего лишь год) и стал вчитываться в то, от чего першило в горле.

"Пишу в открытую не только потому, что представился случай через инкора доставить "левое" письмо по дипканалу. Смелость, скорее, от того, что не вижу твоего взгляда, колючего, как твои усики, то есть взгляд помню, но все-таки расстояние, знаешь, благодарная вещь: все как-то добреет на расстоянии, даже твой взгляд. Я много о тебе думала. О твоей какой-то непрошибаемости. Наши тет-а-теты, смешно. Ни разу даже по-человечески не поговорили, ты же меня совсем не

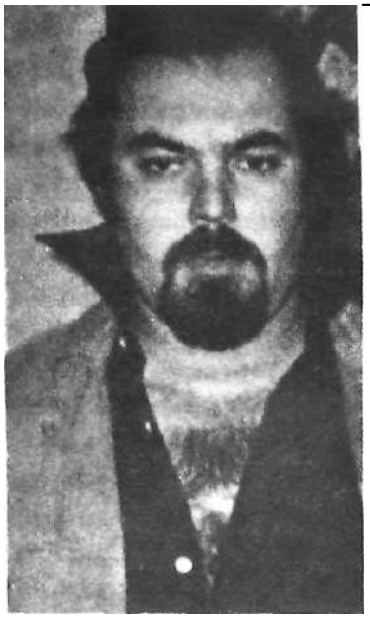
знаешь, представляю, что ты мог про меня в уме нагородить после разговоров о постельных штучках-дрючках. Чего ты от меня все это время хотел, суровый Байрон? На той пьянке вчетвером я же для тебя старалась, изгилялась. Если бы не пришлось в ванной, впопыхах, вообще бы не знала, способен ты или не способен. Я так хотела потом встретиться, снова, понимаешь? Но эта твоя непрошибаемость, ты даже не позвонил. Все твои моральные треволнения о незапятнанности, представляю! Как только тебя задело — сразу стал искать виноватых, при всей своей надмирности и безучастности. Всунул, вынул и бежать? Ты вот над всеми иронизировал: никто не хочет оставаться в собственной шкуре, все лезут из кожи вон — насчет идеи другой страны. Все, мол, лезут или в негры или в евреи. Только ты один, мол, выше исторических счетов и остаешься в России "любить собственную участь". Но как только привод в милицию, ты сразу заручился лермонтовской цитатой: "Скажи мне, ветка Палестины, прощай немытая Россия!" Может быть, другие и лезут из кожи вон и не желают оставаться в собственной шкуре. Но ты тогда как раз тот, кто за свою шкуру дрожит. Не в том смысле, что ты кого-то там выдал или продал: ты просто не желаешь ни во что ввязываться. Воображаешь, что тебя припутывают, что без нас ты бы жил припеваючи, как будто ты исключительная буква в десятипальцевой системе и по тебе не долбанут. Ты у нас суровый Байрон. Только в наше время байронизм — это хамство. Как мы по-хамски и презрительно, с гадливостью и свысока, с какой-то гадливой ревностью третируем друг друга и, не отыскав виноватых, пугливо отплевываемся! Совсем, что ли, любви к самим себе не осталось? Смешно все это излагать в письме сейчас, когда твой след давно простыл, — но мы еще здесь, мы еще не умерли, чем тебя прошибить, тогдашнего?

Собственно, пишу, чтобы сообщить пренеприятное известие, может, и тебя проймет. После твоего отъезда над Марком состоялся суд по делу об уклонении и вообще. Ты, наверное, слышал. Известная нам с тобой пьянка там фигурировала. То есть и я фигурировала там как свидетельница. Во время

перерыва его, Марка, супруга чуть глаза мне не выцарапала. Орала на меня, жуткая баба, к удовольствию окружающих милиционеров, что я, потаскуха, пыталась увести от нее мужа. Ей, видно, во время следствия, которое тянулось полгода, хорошо промыли мозги и у нее, как говорится, открылись глаза. (На суде она тоже давала показания: "Он ребенку не дает развиваться своей враждебной пропагандой. Каждую ночь слушает "Голос Израиля". В квартире такой грохот от глушилок, ребенок не может спать, что он себе думает о ребенке, ну? И мало ему одной глушилки, он еще переключает волны и требует, чтобы ребенку заткнули пасть, но ребенок от этих самых глушилок и кричит". Смех в зале.) Короче говоря, она подала на развод еще до суда, а когда Марка сослали отбывать воинскую повинность под Тулу, все в Москве стали считать меня заочной женой. Я против Марка, впрочем, ничего не имела в смысле как мужчины: он, ты знаешь, хоть и упорный до тупости, но какой-то жалобный. И кроме того, он — средство передвижения, как ты изволил выразиться. Я даже ездила к нему на свиданку пару раз под Тулу в военчасть; он довольно сносно целуется, но дело происходило в проходной, и потом он все время говорил про гоев, закон и кошерность, я ничего не понимала. А потом и переписку запретили. Он, оказывается, объявил голодовку в связи с тем, что ему запретили соблюдать кошерную пищу. Сначала посадили его в карцер, или, как там называется, "на губу"? Мне обо всем этом рассказывал один солдатик, который сам меня нашел по просьбе Марка, по его последней просьбе. Они вместе сидели "на губе". От голодовки и карцера у Марка началось обострение язвы, потом его стали насильственно кормить, давали селедку, начались дикие приступы, его повезли в районную больницу, но какие там больницы под Тулой? Пролежал он всю ночь без медсестры, потом не могли найти хирурга, где-то пьянствовал хирург, короче — умер Марк под утро от прободения. Передавал, говорят, тебе привет, спрашивал, как тебе там служится? Про себя же сказал, что умирает как солдат, не закончивший перебежки".

Сухая перестрелка военной команды и бряцанье оружия стихли, удалившись в марш-броске. Последний ангел, поднявшись по лестнице холмов к горизонту, исчез в небе, и перестали летать перед глазами черные ангелы строк на линованой бумаге письма. Кусая губы, Максим глядел на онемевшие холмы, потерявшие наконец в его глазах позолоту фальшивой экзотики, которой он ретушировал свою память. И минарет, как обшарпанный белый флагшток без знамени, уже не вызывал на поединок своей мусульманской эрекцией. Холмы лежали неприкрытые, без театрального грима исторических аллюзий; в напевном шуршании песка не слышалось шелеста знамен и поступи крестоносцев, сельджуков, янычаров или легионеров — это был шорох лишь его, Максима, истории, только что отгрохотавшей в памяти. Холмы были похожи на жизнь, однажды потерявшую смысл, который предстояло открыть заново. Холмы требовали его присутствия здесь, его и никого другого; без него ландшафт этой земли был бы гол, нелюдим и неприкаян, и своей неприкаянностью требовал твоего присутствия, просил не оставлять, проверял на верность. "Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня", сформулировал наконец Максим свои смутные соображения с библейской афористичностью и тут же осекся, догадавшись, что бессознательно процитировал слова советской песни.

1982



Владимир РЫБАКОВ

МЕСТЬ НЕИЗВЕСТНОМУ

Старое здание, вобравшее в себя общежитие текстильного техникума, кряхтело на сердитом ветру, погруженное по щиколотки в зиму. Неоновое освещение не согревало комнат, студеных по причине трехдневного прогула кочегара.

Общежитие было женским, потому не пили, не буянили, а крепко обнимались, греясь чужими телами, стараясь как можно глубже нырнуть в заревый девичий сон.

Слава Промаслина, прижимаясь к Кате Ставиной, страдала в незамерзающем горе. Долголетье тому назад Славины родители так ожидали появления рабочего человека мужеского пола, так долго томились, склоняя будущее имя будущего человека, что, когда появилась на свет советский вся в пупырышках девчонка, решили перенести от недостатка воображения долго лелеемое имя Слава с нерадившегося мальчика на родившуюся девочку. Так все и осталось. Закаменела родительская любовь на этом имени, а где-то далеко-далеко внизу, как свалившись с крутизны,

осталась существовать подолгу кричащая от отсутствия ласки и молока девочка. Так и живет Промаслина в городе Куйбышеве. Родители говорили и говорили, глядя на нее, без добра в голосе:

— Слава! Слава!

И все хотела Промаслина услышать хоть раз свое имя, идущее к ушам, сердцу окруженное большой нежностью. Ожидая, веря и не умея еще проклинать, заставила себя Слава полюбить свое мальчишеское прозвище. Полюбила на то время, пока кто-нибудь другой не произнесет его необыкновенно.

Катя Ставина, девушка, много думающая о других, рядом живущих, по причине своей некрасивости, часто гладила голосом Славу:

— Ужасная у тебя трагедия, Слава, просто ужасная.

Медоточивый голос подруги гнал к Славе уныние.

Три месяца назад во Дворце культуры к Промаслиной подошел Анатолий, трезвый парень. Тогда как-то сразу, броском видение венчальной одежды набросало белую краску на Славины мечты. Светозарным был этот парень. Лапал он тихо, уважал. Было ночью больно долгоожидаемой болью.

Теперь Толя в армии, а у нее живот скоро вспучится. Друг Толи, видимо уважая Славино чувство и не желая, чтобы оно пропадало даром, написал: "Не жди, нашел себе Талян в первое же увольнение шалаву". Катерина очень любила перечитывать это письмо.

Ночью растягивала, насильничала время. Прижимая к себе нескладное тело подруги. Слава старалась, но никак не могла согреться. На душе, кроме пустоты, был страх. Ей временами казалось, что она слышит, как падают капли ее, Славиной жизни в чашу вечности. Слава заговорила, стараясь заглушить тишину комнаты, пустоту в себе и монотонный шум капель, падающих из неизвестного мира.

— Что делать? Ум у меня на задворках, совесть в ссылке, а сердце проткнуто ножом... Я тогда храбрая была... Ты, на-

верное, не знаешь, что ночью смелость женщины превосходит храбрость мужчины. Преданья говорят, что ей помогают звезды... А теперь боюсь... очень боюсь.

Добрая Катерина задышала Славе в пробор:

— Бедная, бедная. Ты, Слава, как одуванчик, тронула тебя жесткая рука, ты и помереть хочешь. Нет уж, рожай, чего уж. Будет мальчик — Славой назови, девочка — опять же Славой.

Слова эти, тихие и воркующие, переродили в Славе любовь к имени своему в ненависть к себе, к жизни, обитающей в ее животе. Мягкие эти слова были тверже кости. Сила их стиснула шею, стала душить. Из многих противоречивых чувств вынырнуло готовое решение.

Слава кратко тряхнула кудряшками.

— Не будет другой Славы... не будет. Довольно меня одной.

Катерина засомневалась:

— Не поздно ли будет, ведь к шести месяцам подходишь. Да кроме того, не забывай, что непременно выгонят тебя из техникума, если узнают, что беременна ты и от ребеночка освободилась... Хотя, если родишь — тоже прогонят. Чтоб не гуляла, не шлялась по ночам куда не следует. Куда ты тогда пойдешь? Никуда.

Катерина серьезно задумалась и продолжила после паузы:

— Я одну женщину знаю. Она в больнице работает. Она сделает. Я тебе тридцать рублей дам. Вернешь мне, ну тридцать. Как? Согласна? Что бы ты без меня делала, как жила бы? Никак не жила бы, — закончила Катерина спокойным утверждением.

Слава уснула, но Катерина еще долго лежала, не особенно желая снов. Ей хотелось поцеловать свое доброе сердце, проследить за своей душой. Было Катерине, как бывает человеку после доброго дела, хорошо и просто.

Наутро Слава пыталась песнями отогнать свою заунывность. Не получалось. Был страх. Слава словно бродила по своему страху в поисках защиты от него же.

И мысль, неистребимая никаким внушением делала больно темени:

— Это страх, это ужас... и отчаянье. Но это все, чем ты можешь отомстить родителям за свое рождение... отомстить им и еще... кому? Кому?!..

Отчаянье все жило, не желая становиться привычкой.

Женщина запросила пять червонцев, мол, за риск и за шприц. В комнате глупо пахло вареньем. Пока женщина "обрабатывала" Славу, Катерина отрывала от себя липкую мысль: "А что, если помрет? Что же тогда, так и пропадет моя тридцатка?" Катерине стало себя жаль, жалела она и Славу, жалела тридцатку.

Она во все глаза рассматривала Славу, топящую в ожидании боли передние зубы в крови губ.

Против воли улыбчато кривилось катеринино личико. Одна мысль отрывалась, другая назойливо цеплялась: "Да, да, нельзя им, красивым, позволять жить без боли. Платить надо за красоту, за счастье. Вот она мучается на грязном столе, без гордости и жалкая".

Эту мысль Катерина не могла да и не хотела отшвырнуть от себя.

Катеринина улыбка ударила Славу по глазам. Она прохрипела:

— Выйди. Уйди.

Затем прошептала женщине:

— Скважину замочную, скважину прикройте.

Женщина как бы в ответ подмигнула с хитростью, которую дает понимание людей.

Боль появилась, дергалась, нарастала, убивала желание дышать.

Очнувшись, Слава стала лихорадочно шарить вокруг залитыми потом глазами. Что-то примостившееся рядом с ней дышало. У этого что-то была громадная голова, была и крохотная грудь. Эта грудь и дышала.

Слава приподнялась, затряслась. Над громадной головой запрыгали крепкие груди. Беззвучные вопли приносили боль животу.

Женщина, повернувшись спиной к столу, очень внимательно разглядывала прибитую большими гвоздями к стене фотографию Ленина.

Славина рука принялась шарить по столу, медленно, ломая себе ногти. Нашарила подушечку, подержала ее, окаменев, — так останавливаются в полете совы — и опустила на громадную голову.

Когда отняла, крохотная грудь не дышала.

Чувствуя чудовищное облегчение, Слава разрыдалась. Пробившись сквозь облегчение и слезы, ее настигло что-то неизвестное, которое она почувствовала, но не поняла — было виновато за прошлое и будущее. Промаслиной приползла мысль:

— Придется часы продать, кофту тоже.

Когда засыпала, ей хотелось выглянуть в окно и увидеть снег из сказок, хотелось, его увидев, рассмеяться.

Месяц спустя женщина встретила выходящих из кинотеатра Катерину и Славу.

— Ну, как дела?

— Хороши, хороши наши дела, — встряхнув весело кудряшками, — ответила Слава.

Прежде чем пойти дальше своим путем, женщина оглянулась на подружек с усмешкой, которая дается только людям, познавшим жизнь.

ПОИСК

Город темнел. Все окрашивал в свой цвет блеклый закат. От стен лился отсвет горизонта, скорее осязаемый, чем видимый. Давя на лице прыщи, перед зеркалом стоял Виктор Родников.

Виктор с упорством мечтал о любви, о той, что обновляет человека, делает его красивым и сильным — от счастья, пусть даже от чистых страданий. Только во время приступов тоски и одиночества он смутно сознавал эфемерность своих желаний.

В трамвае Родников возбуждался от каждого женского прикосновения, трепетал от нетерпения, чувствуя узкую спину, прижатую к своей, мгновенно рисовал яркую картину знакомства и, заглянув в лицо женщины, каменел, видя старушечьи морщины и дряблый подбородок.

Удовлетворенный, Виктор отошел от зеркала и, выпятив слабую по причине незрелости и худосочности грудь, выбежал на улицу. При свете фонарей грязь казалась нежной, при каждом шаге она набухала и чавкала, будто под тяжелой ногой. Вслушиваясь в ее всхлипывания, как в стон своего желания, Родников ждал, каждая клетка тела ждала. Это наваждение уже не смущало его.

Как-то на выпускном вечере Виктор робко приблизил губы к танцевавшей с ним девушке — и так же робко собирал в ладонь кровь с разбитого носа. Теперь он был похож на хитрую слабую собаку, ждущую удобного мига, чтобы украсть кость. Любую.

Окраина радовалась ночи, скрывающей ее нечистоплотность. Что-то омерзительно-торжественное было в краешке луны, выглядывающей из-за невидимой тучи. Родникова толкнули, он всмотрелся.

— А, Валентина Леонтьевна... как поживаете?

— Мое дело стареть, Витя.

Беря из ее рук кошелку, почувствовал руку. Пухлую. Тело Валентины Леонтьевны колыхалось перед глазами, и ему стало страшно от звона в голове, нелепой мысли, завертевшейся в ней. Рот наполнился слюной.

Жалким был дом женщины.

— Зайди, — сказала Валентина Леонтьевна, — чайку попьем.

Она все время ощущала взгляд Виктора, и в груди ее становилось сладко.

Родников долго помешивал чай, ноги дрожали, мысли путались. Было стыдно, что его тянет к этой, годившейся ему в матери женщине, некрасивой, с чистыми глазами. Но безумие прочно овладело им. Родников встал, подошел и поцеловал

Валентину Леонтьевну в шею, чувствуя, как под губами собирается в складки кожа. Задохнулся. Стал ждать (сморщился, как от мелкой боли при этой мысли: ждать, все время ждать).

Виктор очень любил кинофильмы о любви. Сидя в темном зале, он ненавидел окружающих. Они вместе с ним страдали, переживали, они, у которых счастья было больше, чем у него. Виктор был в этом уверен... он это знал. Поцелуи героев приводили Виктора в экстаз. Только в чистоте, рассуждал Родников, существует высшее начало. Что это такое, он не знал, но хотел верить, что хорошее. Его учили, что в жизни всегда больше хорошего.

Женщина встала. Размякшее лицо, в глазах, кроме света лампы, ничего. Обняла, задышала часто, повела к постели. Ощущения, осадок которых был так похож на встречи Виктора в трамвае со спинами без возраста и дряблыми подбородками, замыкающие круг мгновенных надежд ужасом повторения, плеснулись в руки, и он их беспомощно, как чужие, протянул, стараясь сомкнуть пальцы на спине женщины.

— Хорошо было... тебе? — выдыхала Валентина Леонтьевна.

Родников сжимался от омерзения.

Он подумал:

— Неужели вновь чего-то ждать? В какой же цвет эту жизнь покрасить?

Родников тоскливо икнул и сам себе ответил:

— В бесцветный.

И еще устало подумал он про женщину, прильнувшую к нему, что она сука.

— Пора мне. — сказал Виктор.

Он ушел. Валентина Леонтьевна свешивалась с кровати, по-рыбьи разевая рот, и тяжело дышала от нахлынувшего счастья.

Каким огромным ни был завод, он терялся перед кладбищем, граничившим с ним.. Оно было старым и трогательно запущенным: в нем еще хоронили, на нем любили, пили, грабили.

Родников сидел на склепе и рассматривал ночь. Ему нравилось работать в ночную смену: во время перекуров, сидя в тревожной кладбищенской тишине, он слышал, как из цехов вырывались звуки машин, мощные и несокрушимые, в этих звуках ощущалась успокоительная сила всего сущего.

После того вечера Виктор бессознательно искал опоры в работе, только отрывками теперь мечталось о взаимопонимании людей. Склеп был теплым, шероховатым, вокруг от легкого ветра шевелились среди крестов деревья.

Вдруг ужас вцепился, сковал разинувшийся рот, выпучившиеся глаза: из ниоткуда вынырнула сгорбленная колонна силуэтов (у каждого был горб). Гуськом шли они, звякая горбами, смеясь человеческим смехом. Проходя мимо темнеющей в темноте впадины вырытой могилы, сбрасывали на дно свои горбы и стройные направлялись к заводу. Судорожно передохнув, Родников спрыгнул с малой высоты склепа. Вывихнул ногу. Ковыляя по цеху, глядя на ногу, как на наказание за страх, уголком зрачка отметил: куча брака в углу цеха исчезла.

Он спросил.

— Чего? — ответил рабочий. — Ах да, ты же второй месяц вкалываешь. Ничего, привыкнешь.

— Так вы мешки с браком хоронили? — спросил Родников, путаясь в своих чувствах к виденному и происшедшему.

— Конечно.

Простодушие рабочего всколыхнуло собирающегося отойти Родникова. Он вспыхнул, повинуясь совести:

— Вы же могилы гадите, да и нечестно это.

И отступил, разглядев выражение лица рабочего.

Тот, блеснув оскалом вскипенных зубов, глухо ответил:

— Ты, сопляк, мне не указывай, если спокойно хочешь жить. Ты что, партейный?

Рабочий заматерился.

Виктор знал, что отвечать нельзя и что совесть тут ни при чем. Он только подумал, что не будет ходить на кладбище по ночам.

Родников пил, кривился, и ему была неприятна четко работающая мысль. Переполненный ресторан монотонно лопотал жадными ртами, жующими, требующими, чтобы убрали посуду, орущими, что уже час заказа не несут, радостными возгласами, которые может издавать человек, когда он сыт и хмелен.

Родников морщился, шевелил свое тяжелое тело и думал. Он не мог найти концов, не мог найти нужную, в натуральный цвет окрашивающую жизнь краску. Не было желания, был страх перед его отсутствием и глубокий протест к обобщенному чему-то, что Виктор называл "справедливым началом". Он тянул в себя спиртное, но нервное возбуждение не покидало тяжеленных рук и черепа. Веселье собутыльников угнетало, лица их были мордами, мир — фикцией.

Все фонари в переулках были перебиты. Парень, которого они остановили, сказал, что не знает никакой девушки и что у него нет денег. Его затащили в подъезд и стали бить. Парень не защищался, только взвизгивал при ударах, противно, кошкой. Виктору стало страшно и злобно, — он бросился к лежащему парню, стал пинать, старался попасть в лицо. Он бил судорожно, пинал свой страх, свою никчемность и еще что-то, о чем не знал, и ему стало так себя жаль, что, заплакав, выбежал из подъезда, сознавая, что все, что топтал, уносит с собой.

Он скачками бросал вперед тело, то вспрыгивал на тротуар, то плюхался с него в жидкую грязь дороги.

— Господи, — думал Виктор, — конец же двадцатого века, — и что? Это она виновата, она все разрушила, Валентина — гадина. Только она, больше некому.

Виктор свернул к ее дому, в боку свирепела одышка, пальцы грызли ладони.

Валентина Леонтьевна торопливо открыла дверь.

— Напился, — ласково прошелестела.

И, обнимая, добавила:

— А если б старый был дома, тогда что...

Желание унизить ее смешалось со смутным пониманием, что это невозможно. Твердея в скулах, Родников потащил

Валентину Леонтьевну к постели. Она слабо стонала, млея. Ей так хотелось еще немного счастья. Виктор в отчаянии тискал железными пальцами ее мягкие груди, по-собачьи любил. Потом свалился в забытье.

Проснувшись, беспомощно погладил выпуклый живот женщины, бочком прижался к ней, стал вспоминать. Протаскивались мимо неяркие образы, полная тенью повседневная жизнь. Вспомнил кладбище и удивился, что всплыла из уснувших уголков памяти бабушка, лежавшая где-то там. Какая она была хорошая, светлая.

И Родников с удовольствием стал думать о ней.

— Бабушка. Полинявшие глаза. А сколько ласки в них таилось. И как она была рада давать радость просто так: легко из пальца шла заноза, после нее уж не держалась частая к взрослым вражда. Она была ничем и всем. С серьезностью вникала во все дела, от плетей отцовских не раз спасала, не оставляла с самим собой никогда и часто объясняла, что такое кривда. "Башка, башка!" — он кричал, когда его обижала правда. Она умерла. Когда ее хоронили, у Виктора была перемена в школе. Он с другом бегал по двору, вырывая друг у друга пышки, купленные в буфете. На улице показался катафалк, за ним отец.

— Чего это он? — спросил друг.

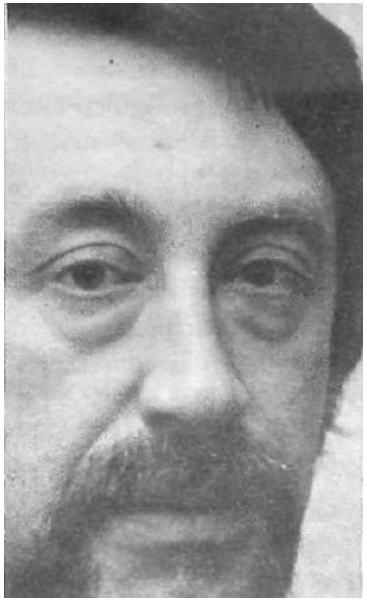
— Бабка скопытилась.

— Слушай, так значит предки твои будут добрыми сегодня, поклянчи у них деньжат, точно дадут.

— Это идея, — ответил Виктор.

И они снова побежали.

Как просто. Родников сморщился. Ему вновь стало жаль себя. Он провел рукой по лицу, нашел прыщ и стал изо всех сил давить его. Давил изо всех сил и зажмурился от сладкой боли.



Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

СЕНОВАЛЬНАЯ БАБОЧКА

Белгородские ночки на выданье...
Белозерские ночи, что дни...
Широко по России раскиданы,
где им надо... ночлежки мои.

Помню влитый в судьбу невесомую
предосенний уже сенокос
и твою вперемешку с соломою
иудейскую лаву волос,
что в гербарий заволжского Севера
по причуде своей притекла
и в пути неподсохшего клевера
стороной обойти не смогла.
...Возле самых висков непреклонная,
словно видела правду насквозь,

сеновальная бабочка сонная
с учащенным дыханием врозь
замахала крылами окрепшими
в зарябившем в глазах вираже

и — присев на оконце ослепшее,
навсегда уцелела в душе.

1980

ПИРОСКАФ

Будет мне в ватнике сальном трудиться,
вольнонаемным на нары валиться,
будто я тоже ничей.
Пить — но не эту же дрянь дрожжевую,
знать — но не эту вражду ножевую
гадко заросших бичей.

Пусть вытирают ботфортой ботфорту,
гнутся в поклонах зеленому черту,
вспомни — кто ты, кто они.
Сердце еще не оставило Бога.
Речь не лишилась последнего слога.
Не обесплодели дни.

Взгляду мятежному в тусклом окошке
мало брусники и мокрой морошки.
И повторяется сон:
входят разбойники к старцу в домушку
и выпускают его за полушку
душу на Новый Афон.

...От комарья в заболоченном лесе
я поднимаюсь на новые веси,
к новым спешу миражам.
Валко встает за бортом пироскафа
белая колониальная Кафа
с пестрой толпой горожан.

Кто я — подскажут прозрачные горы,
волн шелестящие солью повторы,
шелковый смоквы жирок...
Шея для зноя готовно открыта.
И унижается с веком семита
серый заволжский зрачок.

Октябрь 1981 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТАД

Вяч.Кутееву

Галоп овец в пыли дорожной
и по трухлявому мосту
— к деревне в тишине острожной
с ее погостом за версту,
где по-над остриями бора
и плесенью крестов
на склоне дня огонь Фавора
то грозен, то медов,
и любит п р а х, лишенный речи,
ловить на слух из века в век
родной бессмысленный овечий
трагикомический пробег.

1981

УЙДУ ЛИ ЗА ВОЛНУ...

Уйду ли за волну в слабеющую даль,
чуть выплывая косным телом,
на Черном высушусь до струпьев, что кефаль,
или совсем сопьюсь на Белом...
А может быть, и тут — в зачуханном краю,
мне как-то более привычном,
с глубокой колеей, зовущей в путь мою
телегу хлипкую на царство в Верею.
и бегом инея в пространстве голубичном.

Июль 1981 г.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Алене Спицыной

Одно ловлю я в этом мире:
толкающий струну на лире,
твой выдох на лету.

1.

Во мгле, во мгле
и карты ветхой вереск,
и серый горностай.
Я напишу —ты не поверишь,
но так и знай
у стрельчатого у окошка
в своей норе:
я раскусил, что возле брошки
щелчок средневековой блошки
лишь ход в твоей игре.

2.

У глобуса отлив моллюска,
он под пятой.
Как гулко выстелен и узко
брус мостовой.
К тебе в покой при бедном свете
в тревожных облаках,
как гондольер, — по блесткой Лете
вплыву в малиновом берете,
держа весло в руках.

3.

Убор, зачес, твои привычки,
унылый друг,
на лекции в анатомичке
я вспомнил вдруг.
Ты говоришь: "Любовь нелепа,
вся жизнь в кругу
комедиантского вертепа.
И я с тобой под сводом склепа
обняться не смогу".

4.

Что человек! Мешочек сердца,
наполненный слегка,
что схоже со стрючками перца
издалека.
Пока освобождает гриву
от гребня для забав
любимая, подобна диву,
он выпрямляет перспективу,
как костоправ.

5.

Есть на Востоке невеселом,
где мор и глад,
вкруг обнесенный частоколом
парадный град.
В парчовом рубище до пяток
косматый царь
сосет медвижий мед из кадок
и любит, чтоб блюла порядок
любая тварь.

6.

Но даже там, где пусты кроны,
поверхность волн тверда,
есть жар Креста и культ Мадонны.
Не веришь? Да!
И в этот час у аналоя
в воздушном молоке
вот также блестко смотрят двое
(как тяжело молиться стоя!)
— рука в руке.

7.

...А помнишь, как читала древних
лишь нам двоим?
Дух виноделен из деревни
и вместе с ним
тяжеловоз копытом кляцал
навстречу нам —
в фургоне ехали паяцы.
И лучше понимался Тацит
под их богемный гам.

8.

Средь бела дня огонь из тучи
и мощный гром
над пирогом навозной кучи
с зеркальным дном.
Что значит — "малые голландцы"?
Тут в каждом — кряж.
А рядом Фландрия: под глянцем
задастые бабцы с румянцем...
Вот это вернисаж!

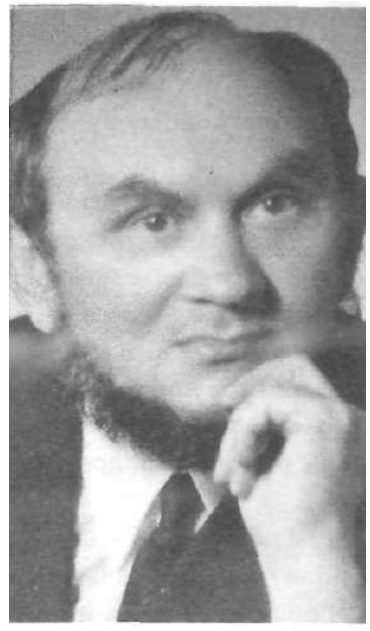
9.

Не пятачки, клыки и скальпы
из лавки мясника,
не ослепительные Альпы
в тиарах ледника,
не бутафорская перчатка
с куском германских царств,
не вшитая в нее свинчатка,
не глист в кишке миропорядка,
не знавшего лекарств,

10.

не Львиного удары Сердца
у жарких берегов,
не на крестах далеких тельца
еретиков,
— а просто в слюдяные слитки
спрессован прах.
Ты — по-осеннему — в накидке
с зверьком невиданным и прытким
на ласковых руках.

Сентябрь 1981 г.



Андрей КЛЕНОВ

ЛЕСНАЯ ПОВЕСТЬ

Из цикла стихов

ТИШИНА

Я в старой Беловежской пуще
и захожу в ее боры,
в ее березовые кущи,
в ее дубовые шатры.
Здесь легендарные ятвяги,
разбросанные по лесам,
на зубра шли не без отваги
и тура брали сам на сам.
Ручей, орешник стерегущий,
запоминал их голоса...

Но что это такое — пущи?
Необозримые леса,
где в кронах неисповедимо
живая дышит тишина,

что так стиху необходима
и сну пугливому нужна.

Воюем в тесной жизни гуще,
пируем в громкой новизне,
но строки сложенные в пуще
я посвящаю тишине.
Ее у нас осталось мало:
эпоха пара поломала,
ломали тол и амонал,
век реактивный доломал.

Шум под землей и шум в квартире,
поля покоя лишены.
И в шумном веке, в шумном мире
душа желает тишины.

КАМЕНЮКИ

Где пущи южные излуки
поит рукав лесной реки,
стоит деревня Каменюки,
а может быть, Каменюки.

Сквозь палисадники густые
глаза и окна смотрят в лес:
с времен Ягеллы и Батыя
он здешним людям в душу влез.

Свои высокие науки
охотники и лесники
прошли в деревне Каменюки,
а может быть, Каменюки.

А в остальном это деревня,
как все деревни: по утрам

неумолкающие песни
покоя не дают дворам,

коровы не скрывают скуки
и гордой спеси индюки.
И всех их любят Каменюки,
а может быть, Каменюки.

Мне нравится мое соседство,
в деревне этой мне легко.
Здесь бабушкой моей и детством
парное пахнет молоко.

АИСТИНЫЙ ЛУГ

Луг аистиный так широк,
что на груди его несмятой
уснул усталый ветерок,
пропахший клевером и мятой.

На время или навсегда
он отдан птицам длинноногим:
у них здесь вкусная еда,
в лесу доступная немногим.

Весной, когда кусты горят
и луг травой зеленой убран,
я слышал — аисты зубрят
сюда приносят старым зубрам.

И щедрый принимая дар,
луг еще больше хорошеет
от клюва красного, как жар,
от красных ног и белой шеи,

от черно-белых крыл резных,
светло распахнутых в полете,
и от гортанных кликов их
на неизвестной людям ноте...

...Пока здесь не гуляет плуг,
пока чекан смеется звонко,
пойдем, любимая, на луг
просить у аиста ребенка.

ВОЗДУХ ПУЩИ

Он необыкновенно легкий,
как детский вздох и детский сон,
и ласково строится в легких,
и предлагает им озон.

Он редкий. Он такого рода
и так настоен на сосне,
что всем в любую пору года
напоминает о весне.

Ольха и граб, дубы и липы
внесли в него заметный след.
Мы этим воздухом могли бы
дышать с тобою двести лет.

Но мы, увы, недолговечны
и растворяемся во мгле
на нашей солнечной и вечной,
омытой воздухом земле.

ОДИНЕЦ

Ушедшего из стада зубра
здесь называют одинцом.
Устал он — затупились зубы
и помрачнел перед концом.

Погодой сбитый с панталыку,
не возвращается в весну,
не перемалывает лыка
и рогом не дерет сосну.

Перебивая шаг упругий,
с лещиной путая чебрец,
один, без друга и подруги,
плутает в пуще одинец.

И долго смотрит исподлобья
на отраженное в воде
свое размытое подобье
в рогах и в бурой бороде.

Не будет больше звезд и лета,
не пробежит по холке дрожь.
Но в чистом зареве рассвета
он, сильный, все еще хорош.

И он врывается без страха
через туман в завал лесной,
И грудь широкую с размаха
крушит поваленной сосной.

Овсянка жалуется маю,
зарянки плачет бубенец,
и я печаль их понимаю;
я тоже старый одинец.

ПУЩА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Два четверостишия

1
ЯМА

Они не отзовутся, — не зови:
до самой ночи шевелилась яма,
и бедное, в испарине, в крови,
всех дольше умирало слово "мама".

2
ДУБЫ

Я знаю в пуще братскую могилу,
Над ней дубы могучие растут.
Они, наверно, переняли силу
у тех, что в сорок первом пали тут.

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Еще не смолкла перестрелка
в косматых тучах за мостом,
а на зеленой ветке белка
уже махала мне хвостом.
Но скоро пушки замолчали,
и тучи дымные ушли.
Жуки и пчелы зажужжали,
повисли в воздухе шмели.
Рассыпав свист и щебет четкий,
и снова облепив кусты,
запели яркие чечетки
и светло-бурые дрозды.

И на сосне, весьма проворный,
возник, довольный тишиной,
в берете красном дятел черный,
в народе прозванный желной.

ЧТО ПУЩА ЛЮБИТ И ЧТО НЕ ЛЮБИТ

Лесам и перелескам пущи
не полюбились с давних пор
топор и порох, душу рвущий,
и снова порох и топор.

Но им приятны несомненно
грибы и сфагновые мхи,
и дни, когда самозабвенно
глухарь поет свои стихи.

А соловьи в весенней пуще?
Я на заре от них оглох.
А жаворонок небо пьющий?
А галочий переполох?

Еще приятней пуще грозный
олений рев и ланей гон:
того гляди дубы и сосны
за ними пустятся вдогон.

Олег КУСТАРЕВ

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРОРОК

На дно колодца погружен
Себе под ноги я мочился,
И шестикрылый фараон
Однажды ночью мне явился.

Он бил меня до синевы
По животу и по затылку
И вынул мозг из головы
И вставил в голову глушилку.

И грудь к рылами разодрал,
И сердце бьющееся вынул,
И речь из уст моих изъял,
И зубы на засов задвинул.

Я на спине пред ним лежал
Очищенный и обновленный.
И вот тогда он мне сказал:
Восстань, проклятьем заклейменный.
Восстань и власть мою приемли
И будь пророк моих идей
И, обходя моря и земли,
Пиши доносы на людей.

* * *

Полутьма петербургских квартир,
Наших робких блужданий страна.
За углом коридора сортир,
За окошком сортира стена.

Рухлядь, рухлядь и рухлядь вокруг,
Плечи, голову пылью кропит,
Кресло, старый засиженный друг
Так старо, что уже не скрипит,

А во время надуманных встреч
В стук и в звон, в плач и в смех, в шум и в гам
Нашей бабушки тихая речь
С паутины спускается к нам.

Десять лет, двадцать лет, тридцать лет.
Это все не часы, а года.
Ты в колодце, и солнечный свет
Не проникнет к тебе никогда.

Плотно сдвинуты наши дома.
Ничего не видать из окон.
В Петербурге царит полутьма,
Полужизнь, полусмерть, полусон.

* * *

Тучки небесные, вечные странники,
Что взгоношились, друзья и попутчики,
Или в Париж захотелось вам, гаврики,
Или в Нью-Йорк потянуло вас, субчики?

Чем недовольны, на что ваши жалобы,
Морды жидовские, шпионы немецкие?
Иль не просторны советские палубы?
Иль не вместительны трюмы советские?

Нет, вам наскучили нивы бездонные,
Слепоучебники, глухозадачники...
Как бы голодные, как бы свободные,
Нету вам паспорта, нету вам мачехи.

* * *

Действительность похожа на коллаж,
Особенно когда слегка поддашь.
Тогда весьма отчетливо поймешь,
Зачем в твоих руках столовый нож.

Перед тобой прекрасная закуска,
Икра и зельц, хлеб и колбаса,
Наполненная содержаньем блузка
И, может быть, последних полчаса.

Все это надо разделить на части,
Смешать, пережевать, переварить,
А чтобы уж совсем изведать счастье
За полчаса успеть обговорить.

Действительность ушла в коллаж клеенки,
В реальности ей места больше нет.
Вот вам клеенка: что она? Пеленки
New world 'а или прошлых уорлдов след?

Действительность не купишь, не продашь,
Она уорлд, ребята, да не ваш.
Как ваш она, ну разве что, мираж,
Гостям нездешнего хозяина коллаж.

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Илья ЛЕВКОВ

НОВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ В АНФАС И В ПРОФИЛЬ

По материалам социологического исследования

ОЧЕРК ВТОРОЙ. МНЕ ВЧЕРА ДАЛИ СВОБОДУ...

Вероятно, еще до того, как эмигранты выехали из СССР и даже до того, как они обратились в ОВИР, у них сложились свои представления о Западе. Их анализ, безусловно, был бы интересен. Но я позволю себе забежать вперед и начать с восприятия ими Вены, Рима, а затем и Америки. Вена и Рим были первыми городами на Западе, которые увидели эмигранты, и анализ восприятия этих городов даст возможность соотнести картину первых впечатлений о Западе с той, которая сложилась уже после некоторого пребывания в США.

Итак, что же произвело наибольшее впечатление в Вене на тех, кто выехал из СССР? Ответы распределились следующим образом:

обилие товаров произвело наибольшее впечатление на 44,8%
красота Вены — на 35,2
чистота города — на 29,6
культура — на 24,8

Продолжение. Начало в № 68.

вежливость жителей — на 14,4
порядок — на 12,8
тишина — на 8,8
свобода — на 6,4%.*

Парадоксально, что люди, в большинстве своем (88,5%) уехавшие на Запад, чтобы быть свободными, прилетев в Вену, называют ее в последнюю очередь. Ценность свободы в глазах опрошенных была в семь раз меньше, чем поразившее их обилие товаров. Один из тех, на кого свобода произвела наибольшее впечатление, сформулировал свой ответ так: "Отсутствие советской власти".

Вообще следует отметить пестроту ответов: "Поражен величиной венской синагоги", "Наибольшее впечатление произвели большие красивые пудели", "Поражен грубостью представителя еврейского агентства".

Но все-таки, когда знакомишься с ответами, невольно улавливаешь стереотипы. Большинство поражены одним и тем же: красотой города, его чистотой, культурой, вежливостью, порядком. Не отражает ли однотипность ответов определенную систему ценностей, определенный способ мышления, запрограммированный советским воспитанием?

В Вене происходила первая встреча с Западом. За Веной последовал Рим, где эмигранты провели от трех до шести месяцев. Какие же ответы они дали на тот же вопрос, относящийся к Риму? Что их поразило здесь больше всего?

Архитектура, музеи и памятники — 86,4%
дружелюбие и теплота итальянцев — 21,6
обилие товаров — 15,2
грязь, беспорядок и шум на улицах — 15,2
свобода — 6,4
большевизм (демонстрации, забастовки) — 4,0%.

Итак, эмигранты, прожившие в Риме до шести месяцев, дают иную шкалу ответов. Красотой и архитектурой Рима они поражены в два раза больше, чем красотой и архитектурой

* Пусть читателя не смущает, что в целом эти ответы не составляют 100%. Это происходит в тех случаях, когда не все опрошенные ответили на тот или иной вопрос. Если же общая сумма превышает 100%, то это значит, что опрашиваемые выбрали из предложенных в анкете ответов больше одного. Точные цифры ответов, которые я привожу, позволяют лучше выявить статистику явления.

Вены. По-прежнему чистота или грязь на улицах — в центре внимания. Если в Вене чистотой было поражено 29,6%, то в Риме — беспорядком и грязью — 15,2%.

Интересно отметить, что в Риме обилие товаров уже не производит на эмигрантов столь сильного впечатления, как это было в Вене. Там, в Вене, оно буквально ошеломило их и составило в процентом отношении почти половину — 44,8%. В Риме же эта цифра сократилась до 15,2%.

Но самое поразительное, что ценность свободы, хотя и поднялась с восьмого места на пятое, однако процент ее поклонников остался прежний — 6,4.

Но обратимся к главному. Как была воспринята Америка советскими эмигрантами?

Вот как выглядят ответы в процентном выражении:

изобилие товаров и продуктов питания — 30,6%
свобода и демократия — 21,7
Америка как страна — 16,7
уровень жизни — 10,0
американские автомобили — 8,3
американский стиль жизни — 6,7
размах и масштабы — 5,8
грязь — 5,8
зелень — 5,0
преступность — 4,2
религия — 2,5
культура — 1,7%.

Первое, что бросается в глаза, это большее число ценностей, отмечаемое эмигрантами, уже прожившими несколько лет в Соединенных Штатах. Анализируя сдвиги в этой системе ценностей, можно лучше представить их отношение к различным аспектам американской жизни, понять, что является центром их культурный устремлений.

Любопытно, что Вена поразила эмигрантов своей культурой в четырнадцать раз больше, чем Америка. Архитектура Нью-Йорка произвела впечатление лишь на 13,5%, тогда как венская архитектура на 35,2, а римская — на 86,4% опрошенных.

Из специфически американских впечатлений следует назвать: размах и масштабы; преступность (о которой очень часто говорят эмигранты); религия (насколько мне известно, многих эмигрантов поражает религиозная терпимость американцев). Можно было предположить, что огромное впечатление окажет служба сервиса и высокий уровень технологии. Но здесь мы имеем только 2,5%. Вот еще одна примечательная цифра: 4,2% были поражены большим числом и высоким статусом евреев в американском обществе, тем, например, что ежегодно в Нью-Йорке проводится парад в честь Израиля, а также отсутствием антисемитизма в США. Это первый и единственный случай, когда у опрошенных проявилось национальное самосознание.

Интересно выяснить, кто эти люди.

Их средний возраст — 55 лет.

Уровень образования — ниже чем в среднем среди опрошенных. 50% имеют высшее, 50 — среднее.

Чтобы читатель мог полнее представить картину впечатлений новых иммигрантов от Америки и американцев, приведу несколько нестандартных ответов: "Был тронут теплым приемом общины (24 года); "Поражен отсутствием духовной жизни" (26 лет); "Поражен идиотизмом американцев" (26 лет).

Теперь давайте сопоставим впечатления от Вены, Рима и Америки.

	Изобилие	Люди	Свобода
В Вене -	44,8%	14,4%	6,4%
В Риме -	15,2	21,6	6,4
В США -	30,6	16,7	21,7
	Тишина	Чистота или грязь	Порядок или его отсутствие
В Вене	8,8	29,6	12,8 (порядок)
В Риме	0 3	6,1	5,2 (беспорядок)
В США	1,7	5,8	4,2 (беспорядок)

О чем свидетельствуют эти данные? Прежде всего о том, что Америка как страна иммигрантам меньше знакома, чем Европа, она им более чужда.

Один несколько загадочный вопрос: почему об американской свободе говорят втрое большее число эмигрантов, чем о свободе в Европе? Ниже я постараюсь найти ответ на этот вопрос. А пока поговорим об источниках информации о Соединенных Штатах, Израиле и иудаизме, которыми располагали эмигранты в СССР, в Риме и которыми они пользуются сейчас.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Главным источником информации об Америке, естественно, были книги и журналы. Анкета включала вопрос: "Назовите книги, которые вы читали о Соединенных Штатах в СССР, в Риме и здесь."

Ошеломительный результат — 43,1% до тех пор, пока не прибыли в США, не прочитали об Америке ни одной книги и ни одной статьи. Это показывает, что решение об эмиграции люди во многих случаях принимали на основе, так сказать, частной информации (письменной или устной).

Менее ошеломительны, зато по-своему весьма показательны сведения, полученные от остальных 56,9%. Каковы были их источники информации?

7,7% знакомились с Америкой по произведениям Драйзера ("Американская трагедия", "Сестра Керри", "Гений" и др).

7,7% читали Марка Твена, Фенимора Купера, Джека Лондона и Хемингуэя.

Третья группа (опять же 7,7%) почерпнула свои сведения о США из "Одноэтажной Америки" Ильфа и Петрова.

10% ограничились довольно общим ответом: "Читали много книг", но не перечислили их. Можно предположить, что и они в числе прочего читали и перечисленных авторов.

А что относительно современной литературы?

Были названы следующие источники: журнал "Америка" — 5,4 и три книги советских писателей: 5,4% — "Америка бизнеса" Смелякова; 1,5 — назвали книгу Пескова и Стрельникова "От Вашингтона до Вашингтона" и "Страну за океаном" Стрельникова.

Несмотря на явно выраженный пропагандистский характер этих книг, будущие эмигранты находили в них информацию, которая их немало поразила.

Между тем очень трудно назвать эти книги достаточно объективными, достоверными и серьезными источниками. Пользоваться ими для принятия решения о выезде равносильно тому, как если бы кто-нибудь воспользовался "Путешествиями Гулливера" в качестве путеводителя по миру.

Отсутствие реальных представлений об американской жизни, вероятно, вообще типично для советских граждан. Так, например, один из членов советской делегации, побывавшей в США, кстати занимавший большой пост в одном из советских университетов, был поражен тем, что американские негры говорят по-английски.

Остановимся на других источниках, которыми пользовались эмигранты. 5,4% читали журнал "Иностранная литература", в котором публикуются многие лучшие произведения американской литературы.

Любопытно, что 29,2% назвали в качестве одного из мотивов выезда желание читать неподцензурную литературу. Но после выезда из СССР лишь 15,4% опрошенных заявили, что они читали и читают книги о США.

Чем объясняется этот спад? У меня нет точного ответа на этот вопрос. Но из двух этих цифр — 29,2% и 15,4%, — по-видимому, наиболее достоверна вторая. Остается предположить, что те, кто назвал среди мотивов выезда стремление читать неподцензурные книги, имели в виду другой круг чтения, и об этом еще пойдет речь ниже.

А пока вернемся к тому, что именно читали эти 15,4%. Большинство из них не назвали конкретных произведений, а предпочли ограничиться ответом: "Да, читали". Впрочем, некоторые назвали и сами книги. Так, в Риме 3,8% опрошенных прочитали брошюру Давида Харриса "Вхождение в новую жизнь", изданную ХИАСом. Уже в Америке 3,1% прочитали "Историю Соединенных Штатов".

Итак, мы наблюдаем определенный спад интереса к книгам и в частности к тем, которые невозможно было прочи-

тать в СССР. Возможно, причина в значительной мере в том, что людям, прибывшим в Америку, в первое время было просто не до книг. Но, думается, что свою роль здесь играет и уровень политической культуры новоприбывших и интеллектуальный застой в целом.

Обратимся теперь к источникам информации об Израиле и иудаизме. Известно, что в СССР почти невозможно получить достоверные сведения об Израиле. С другой стороны, книжные полки забиты литературой об иудаизме, враждебный тон которой выходит даже за рамки атеистической официальной пропаганды. В этих изданиях иудаизм рассматривается тенденциозно не только как религиозное учение, но извращается и вся история и традиции еврейского народа. Судя по всему, они создаются для разжигания и поддержания в стране антисемитизма.

Около 90% опрошенных назвали антисемитизм как главный мотив выезда. Следовательно, эти люди необычайно остро ощущали антисемитизм и можно было бы предположить, что они проявят особый интерес к иудаизму. Однако прогноз этот оказался ошибочным. Данные опроса показали: в Советском Союзе об иудаизме читали 15,4% и не читали 84,6%. В Риме — та же картина. В США процент читающих увеличивается вдвое — 31,5 (не читало 68,5%).

Что же читали опрошенные об иудаизме в СССР? Это были антисионистские издания, Библия, "История евреев" Семена Дубнова (издание 20-х годов), "Еврейская энциклопедия" (русское издание 1908 г.), произведения Жаботинского (изданные так же до революции), Фейхтвангера. Каждый назвал одну или две книги, не более. Разумеется, эти источники могли дать лишь весьма ограниченное и фрагментарное представление об иудаизме.

Процент читающих эту литературу в Риме не изменился, но изменилась библиография. В Риме: Герман Вук "Это мой Бог", книги американского историка Греца, Библия.

В США прочитанные эмигрантами книги об иудаизме можно разделить на три группы. Треть читала Библию, треть — брошюры о еврейских праздниках и традициях, издаваемые

еврейскими организациями и треть читала книги, опубликованные в Израиле. Среди них: "История еврейского народа" Этингера, "Евреи, Бог и реальность" Дюмонда, "Мои прославленные братья" Говарда Фаста, "Повесть тысячелетий" Марголина. Вся эта литература, скорее, была пищей для ума, скорее, отвечала эстетическим, нежели религиозным запросам читателей. Отсутствие серьезных усилий познать иудаизм не имеет объяснений.

Примерно так же выглядит процесс получения эмигрантами информации об Израиле. В СССР об Израиле читали 20,8%, в Риме — эта цифра увеличилась на десять процентов, и в США возросла до 37,7%.

За время пребывания в Америке 62,3% опрошенных вообще ничего не читали об Израиле, несмотря на обилие источников не только на английском, но и на русском языке.

Единственная книга, которая в СССР давала реальную информацию об Израиле — это книга Леона Юриса "Эксодус", которую и читали опрошенные. В Риме также читали эту книгу и, кроме нее, произведения Бегина, книги о Шестидневной войне и операции Энтеббе.

А что читают в Америке об Израиле? Широкой популярностью пользуется книга Исара Арэля об израильской разведке и поимке Эйхмана. Вообще у читающих литературу об Израиле, с одной стороны, наблюдался повышенный интерес к романтике израильской жизни, к героям страны, с другой — к национально-патриотической теме, связанной с возрождением еврейского национального государства и его культуры.

Этот интерес базируется на определенной ментальности советских евреев. Их самосознание не было построено на осознании своей еврейской сущности и своего национального характера и очень часто основывалось на негативно представленном образе еврея, каким его рисовала официальная пропаганда. Советскому еврею легче воспринять национальный аспект еврейского государства, чем религиозный. Израиль для него ассоциировался прежде всего с героями Шестидневной войны или операцией Энтеббе, которые как бы возвышали его в собственных глазах. Принять и впитать

этот национально-героический аспект Израиля, разумеется, не требовало таких усилий от советских евреев, какие нужны были для изучения иврита, национально-религиозных традиций, перемены всего образа жизни.

Суммируя данные опроса, связанные с кругом чтения, можно сказать, что темпы ознакомления с новыми источниками информации были замедленными. Судя по тому, как много читают в СССР, можно было ожидать, что, попав в страну, где доступна любая информация, интерес к чтению неизмеримо возрастет. Но этого не произошло. Почему? Для того чтобы ответить на этот вопрос, важно понять, как вообще используют эмигранты свободное время.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Начнем с того, что использование свободного времени представляет собой важнейший показатель культуры, а применительно к эмигрантам он свидетельствует о том, насколько они успешно адаптируются в той или иной свободной стране. Зная, как люди проводят свободное время, чем они заняты в эти часы, можно лучше понять и их прошлое, и их сегодняшний круг интересов, и их решимость стать интегральной частью избранного ими общества. Известно, что все эмигранты имеют телевизор, а 70,9% — цветной. Отсюда нетрудно понять, что у телеэкрана они проводят достаточно много свободного времени. Однако посмотрим, сколько именно часов в неделю?

От 6 до 10 часов — 15,9%
от 11 до 15 часов — 21,8
от 16 до 20 часов —19,3
от 21 до 30 часов — 11,8%
от 31 до 45 часов — 31,2%.

Итак, 43% опрошенных проводят более 20 часов в неделю у телевизора.

Чтобы выяснить их специфические интересы, я просил указать наиболее любимые ими передачи из следующего

перечня: комедии, новости, спорт, кинодрамы, "ти-ви гейм", "соуп-оперы".

Абсолютное большинство смотрят все эти программы. Но все же можно выделить "ти-ви гейм" (телевизионные игры) и "соуп-оперы"* (мелодрамы).

В "ти-ви гейме" зрителей привлекают элементы "американского чуда". Поклонников "соуп-опер", помимо мелодрамы как жанра, притягивает еще возможность увидеть жизнь маленьких городов Америки.

В ходе опроса было предложено сравнить американское и советское телевидение. 95% — отдали предпочтение американскому. Однако далеко не все считают его безупречным. Лишь 58% оценили его пятеркой, 23,2 — четверкой, 18,8% — поставили ему тройку.

Теперь, если мы сравним время, проведенное за чтением и у телевизионной камеры, то не останется сомнения, что телевидение для эмигрантов — это основной источник познания Америки и американского образа жизни. Радио слушают сравнительно меньше и в основном в машине. Как правило, это легкая музыка. Некоторые, приехав в США, продолжают слушать "Голос Америки" на русском языке.

Затем я хотел бы снова вернуться к чтению. Посмотрим, что конкретно читается и как прочитанное влияет на восприятие Америки.

Выше было уже сказано, что только 17,2% читают журналы на английском языке; 10,3 — читают как американские, так и русские журналы; 32,8% — не читают ничего.

Какие же американские журналы интересуют эмигрантов? "Тайм" — 57,4%,"Ньюсвик" — 10,8; "Юнайтед стейтс энд волд репорт" тоже 10,8%. Все эти еженедельники публикуют новости международной и американской политики. Трудно объяснить, почему "Тайм" в пять раз популярнее "Ньюсвика". Из менее читаемых журналов опрошенные назвали: "Нейше-

---

* Спектали, идущие под общим названием "Соуп-опера" субсидировались крупнейшей американской компанией, производящей мыло.

нел географик", "Пипл", "Фэмэли серкл" и "Плэйбой" Из всех читающих 73% выбрали наиболее популярные еженедельники.

Что касается американских газет, то их читает меньшинство — 42,9%. Большинство же составляют те, кто газет на английском языке вообще не читает.

Исходя из того, что американскую прессу читает сравнительно малое количество эмигрантов, нетрудно было сделать вывод, что основная масса читает русскую прессу.

Было, однако, интересно узнать, каким именно журналам и газетам отдают предпочтение новые иммигранты. Полученные данные кому-то могут показаться весьма удивительными. Так, из всех опрошенных лишь 12,4% читают журналы на русском языке, в том числе 1,6 — предпочитают советские журналы (0,8% — "Шахматы в СССР" и 0,8% — "Спутник").

А как читаются русскоязычные журналы, издающиеся на Западе? Данные распределились следующим образом:

"Время и мы" — 5,4% опрошенных

"Континент" - 2,3

"22" (журнал, издаваемый в Израиле) — 1,5

"Литературное зарубежье" — 0,8

"Хроника текущих событий" — 0,8%.

Однако источниками текущей информации являются не журналы, а газеты. Поэтому был предложен вопрос: "Какие из следующих газет вы читаете регулярно? — "Новое русское слово" (НРС), "Новый американец" (НА), "Новую газету" (НГ)?"

Абсолютное большинство (92%) читают "Новое русское слово" и оба еженедельника. Остальные 8% читают их нерегулярно или совсем не читают.

Интерес к трем русским газетам, издающимся в Нью-Йорке, в процентном выражении выглядит так:

НРС	НРС НА	НА	НРС НГ	НРС НА НГ
40,8%	30,9%	5%	2,5%	20,8%

Таким образом, из общего числа читателей газет 95% составляют читающие "Новое русское слово", 59,2 — еженедельники. На основе этого можно прийти к выводу, что "Новое русское слово" — главный источник ежедневной информации для новых иммигрантов.

"Новое русское слово" было основано в 1910 г. как газета первой эмиграции. Это, естественно, отражается на ее содержании. В газете публикуются материалы, способные удовлетворить интересы разных волн эмиграции. При этом, когда речь идет о современных политических проблемах, газета придерживается правого курса. В Международных темах она неизменно симпатизирует Израилю.

"Новый американец" и "Новая газета" придерживаются того же правого политического курса, что и "Новое русское слово". Этот правый курс всех трех газет помогает объяснить политические взгляды новоприбывших в различных областях международной и внутренней политики США.

Какие же страны привлекают более всего в разделе международной жизни?

Прежде всего Израиль — 96%

затем Америка — 94,4

на третьем месте СССР — 84,0

на четвертом Европа — 55,2

на пятом Китай — 29,6

на шестом Африка — 17%.

Эти данные отражают систему ценностей и круг интересов новых эмигрантов. Удивительно, однако, что Израиль находится на первом месте. Это наводит на мысль, что эмигранты на самом деле ощущают себя куда больше евреями, чем об этом говорят.

Теперь остановимся на книгах, которые вызывают у новых иммигрантов наибольший интерес. Опрошенные назвали семь таких книг:

А.Солженицын "Архипелаг ГУЛаг" — 44,7%

Светлана Аллилуева "Десять писем к другу" и "Только один год" — 7,4%

Авторханов "Загадка смерти Сталина" — 7,4%

Пастернак "Доктор Живаго" — 9,6

А.Зиновьев "Светлое будущее" — 9,6

Эдуард Кузнецов "Дневники" — 4,3%.

Как видим, невероятно высокий интерес к сталинской эпохе. На втором месте стоит диссидентство. В том и другом случае интерес к прошлому, а не к настоящему, не говоря уже о будущем.

Вспомним, что одним из мотивов выезда была свобода передвижения. Это естественно. Советским людям эта свобода была менее доступна, чем какая-либо другая. Поездки за границу были доступны достаточно узкому кругу людей, особенно это относилось к евреям. "Пятый пункт" уже сам по себе исключал выезд в страны Европы, не говоря уже об Америке. В связи с этим было интересно посмотреть, как эта свобода реализуется на Западе. Давайте прежде всего выделим как бы четыре уровня передвижения: переезд из города в город и из штата в штат, путешествие по Америке, поездки за границу, планируемые путешествия.

Опрос показал, что абсолютное большинство эмигрантов (85,4%) оседают в том месте Соединенных Штатов, куда они прибыли из Рима. И только 14,6 — переехали в другой город. 11,5% — из штата в штат. О чем говорят эти данные? Наверное, прежде всего о том, что начальный период адаптации был нелегким и перспектива менять место жительства малопривлекательна.

Что касается путешествий, то лишь половина опрошенных выезжала за пределы собственного штата. За границей побывали 19,2%. По сравнению с количеством путешествующих американцев это очень большой процент. Однако я не уверен, что его можно назвать большим, если учесть, что повидать мир, — было и остается едва ли не самой сокровенной мечтой советского человека.

В какие страны ездят эмигранты? Более половины (56%) были в Израиле; 24% — в Израиле и Европе; значительная часть тех, кто вообще куда-либо ездил, побывала в Канаде (40%). Далее следует Франция — 16%; Голландия — 12%; Англия, Швеция и Австрия — 8%, другие страны (среди них Египет) — посетило 4%. Те же 4% ездили в Италию.

Заметим, что поездка в Израиль длительна и дорога. Если ее сравнить с такой же дорогой и длительной поездкой во Францию, то интересно подчеркнуть, что в Израиле побывало в 3,5 раза большее количество людей.

Чтобы полнее представить картину поездок, был задан вопрос о планируемых путешествиях. Получена была примерно та же картина. В Израиле стремится побывать абсолютное большинство (40% только в Израиле, а 35 — в Израиле и Европе). Никто из опрошенных не планировал поездку в Австрию и, в частности, в Вену, которая в свое время их так поразила. И лишь 2% хотели побывать в СССР.

Суммируя сказанное, хотелось бы выделить следующее:

96% читают об Израиле, 75% — планируют туда поехать

84% читают о Советском Союзе, но только 2% хотят там побывать.

О своей прошлой родине эмигранты хотят много читать, но совсем не хотят новой с ней встречи.

Совершенно иное дело Израиль. Похоже, интерес к нему — это далеко не просто любопытство. Он объясняется целым комплексом смешанных чувств: осознание себя евреем, стремление получить большую информацию о еврейском государстве и, возможно, известное чувство вины перед ним. Дело не только в том, что эмигранты уезжали в Америку по израильским визам, а в том, что, будучи в России, многие из них внутренне готовили себя к поездке в Израиль и не сделали этого. Но об альтернативе — ехать в Америку или Израиль речь пойдет дальше.

ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос о том, как эмигранты относятся к американской культуре далеко не однозначен. В обыденной жизни мы можем услышать самые разнообразные оценки — от восторга до пренебрежения. Между тем отношение к американской культуре, степень освоения этой культуры может дать нам ответ на вопрос очень важный, — как адаптируются новоприбывшие в США.

Итак, начнем с образования. Вспомним, что 20,8% опрошенных заявили, что мотивом их отъезда было стремление гарантировать своим детям высшее образование. Анкета включала два вопроса, связанных с американским образованием. Первый — об отношении эмигрантов к образованию в США вообще. Второй — ставил своей целью выяснить их отношение к тем учебным заведениям, где учатся их дети. Если быть более точным, то первый вопрос предлагал сравнить американские и советские учебные заведения.

79,7% считает, что начальное образование в Америке поставлено хуже, чем в СССР;

так же, как и в СССР — 6,3

лучше, чем в СССР — 14%.

Мнения, высказанные о среднем образовании, распределились так:

Хуже, чем в СССР — 79,7%

так же — 6,3

лучше, чем в СССР — 14%.

Высшее образование оценивается:

хуже, чем в СССР — 22,6%

так же — 5,7

лучше, чем в СССР — 71,7%.

Как видим, существует очевидный разрыв между оценками начального, среднего и высшего образования. Большинство (80%) считают, что начальная и средняя школы в СССР лучше, чем в Америке. Но почти такое же число опрошенных отдает предпочтение американской высшей школе. Этот разрыв довольно трудно объяснить. Возможно, мнения эти основаны на различных ценностях. Так, рассматривая начальное и среднее образование в Америке, некоторые видят его серьезный недостаток в отсутствии дисциплины в школах. Другие привносят сюда еще и проблемы наркотиков, половой распущенности, словом, мы видим отсутствие четких критериев. Тогда как в оценках высшей школы есть хотя и косвенный, но четкий фактор — информация о высоких достижениях американской науки и техники.

КУЛЬТУРА

Массовый успех попкультуры — музыки, мюзиклов, фильмов Голливуда наблюдается едва ли не во всех странах мира — от африканских и азиатских до европейских. Популярна эта культура и в Советском Союзе. Вспомним Чарли Чаплина, "Тарзана", "Клеопатру", "Оклахому" и многие другие мюзиклы вплоть до "Иисуса Христа — суперзвезды", обогатившего многих спекулянтов пластинок. Вообще советский "черный" рынок, несмотря на его баснословные цены, во многом формировал представления об американской музыке и культуре.

Интересно было проверить отношение бывших советских людей к американской культуре, которая перестала быть для них теперь запретным плодом. Как открывали для себя американскую культуру новоприбывшие? Проследим этот процесс по отношению к театру, музеям и кино.

Итак, вначале театр.

Был поставлен вопрос: "Какие спектакли вы видели в американском театре — на английском языке, русском и идиш?"

63,1% — не видели ничего (что, однако, не помешало им дать оценку американской культуре).

16,2 — побывали на спектаклях, шедших на идиш

15,4 — были на спектаклях, шедших на английском языке

6,2 — побывали на русских спектаклях

5,4 — посетили цирк и танцы на льду

2,3 — посмотрели израильские шоу.

В этом списке вызывают удивление две цифры: 63,1% ничего не видевших и 16,2%, смотревших спектакли на идиш. Это почти в три раза больше, чем число людей, видевших спектакли на русском языке и даже превышает количество зрителей, смотревших спектакли на английском.

Как объяснить это? Вряд ли правильным будет утверждение, что на идиш спектаклей больше, чем на русском. По-видимому, дело в том, что многие посетители театра, где спектакли идут на идиш, в прошлом были поклонниками

Еврейского театра, возглавляемого Михоэлсом. В середине 60-х годов они были свидетелями недолгого расцвета еврейского драматического искусства в СССР. Все это, вероятно, и пробудило в них чувство национального самосознания. Еврейская культура была как бы легализована в их глазах. Поэтому можно сказать, что связь с еврейским театром, которая была установлена в результате опроса, совмещает в себе как бы два аспекта — культурный и политический.

Что касается поклонников американского театра, то я бы хотел отметить только одну деталь: это люди не только с хорошим знанием английского языка, но и с достаточно высоким годовым доходом.

Далее пойдет речь о музеях. "Посещали ли вы американские музеи? Какие?" Полученные ответы зафиксированы в следующих цифрах.

"Не были ни в каких музеях" — 58,5%
"Были в художественных музеях" — 19,3
"В Метрополитен музее" —6,9
"В Музее современного искусства" — 3,8
"В еврейских музеях" — 3,8
"В музеях науки и технологии" — 3,8
"В музее естественной истории" — 3,1
"В музее американской истории" — 0,8%.

Посещение музеев способствует повышению общей культуры и в то же время не требует знания языка. Поэтому вызывает удивление, что большинство вообще ни в каких музеях не были.

Однако из тех, кто посетил музеи, большинство предпочли художественные и лишь 6,9% — естественнонаучные.

Вспомним, как много говорили о стремлении изучить еврейскую культуру евреи, собиравшиеся уезжать из СССР. Теперь они эту возможность получили. Едва ли не впервые они смогли посетить еврейские музеи и ближе познакомиться с еврейской культурой. Однако, как видим, только 3,8% использовали эту возможность.

А как обстоит дело с кино? Если так много часов проводит-

ся у телевизора, то можно было ожидать, что эта способность к визуальному восприятию будет стимулировать интерес к кино. Однако были получены следующие ответы.

Совершенно не ходят в кино — 36,2%
Не чаще чем раз в месяц — 24,6
Два раза в месяц — 12,9
Три раза — 6,2
Четыре раза — 10
Шесть раз — 1,5
Очень редко — 9,2%

Те, которые вообще не ходят в кино или ходят очень редко, составляют 70%.

Какие фильмы предпочитают эмигранты? Предлагалось указать наиболее предпочтительный из следующих жанров: детектив, драма, романтические фильмы, ковбойские, комедии.

56,2% — отдают предпочтение драме
30,8 — детективам
30,8 — романтическим фильмам
34,6 — комедиям
23,1 — ковбойским
16,2 — из названного перечня не увлекаются ничем.

Как видим, излюбленный в Америке жанр — ковбойский фильм — пользуется наименьшей популярностью.

Чтобы уточнить отношение эмигрантов к американской культуре в анкету был включен вопрос: "Предпочитаете ли вы французские или итальянские фильмы американским?" Ответ: 35,7% — предпочитают.

Чтобы уточнить этот ответ, я попросил назвать трех любимых западных киноактеров. Как ни парадоксально, 47,7% не смогли назвать ни одного. Остальные (52,3%) назвали 13 французских и трех итальянских актеров.

Самая популярная актриса — Софи Лорен (45,6%), затем Жан Габен (19,1%), Мастрояни и Луи де Фюнес получили по 8% каждый. Что же касается американских актеров, то лишь один или два человека упомянули их имена (Стив Макквин, а кто-то сострил и назвал Рональда Рейгана).

Итак, несмотря на несколько лет жизни в Америке, эмигранты все же предпочитают французское и итальянское кино, с которым они относительно хорошо познакомились еще в СССР. Собрав ответы, касающиеся кино, я как бы идя индуктивным методом, попросил дать общую оценку американской культуре как таковой. 36,5% воздержались от ответа, 6,2 — сообщили, что они незнакомы с американской культурой, остальные дали следующие ответы, пользуясь пятибалльной системой:

пятерку поставили 7,7%
четверку — 30
тройку — 12,3
двойку — 3,8
единицу — 1,5%

Итак, на "хорошо" и "отлично" американскую культуру оценивают 37,7%. Большинству же — она чужда и непонятна.

Каковы истоки этой отчужденности? Прежде всего мы имеем дело с людьми, воспитанными на советской культуре, хотят они этого или нет. И вряд ли можно, например, предположить, что они покинули Советский Союз из-за неприязни к социалистическому реализму. Во-вторых, большинство из них привлекает более знакомая им европейская культура и классическое европейское искусство. И, в-третьих, очевидно, для того чтобы постичь любую культуру, и в частности американскую, необходим процесс длительного и активного ее освоения.

ЭМИГРАНТЫ И АМЕРИКАНСКОЕ ЕВРЕЙСТВО

Широко известно и об этом уже писалось, что эмигранты не торопятся принять участие в жизни американских еврейских общин, хотя общины прикладывают немало стараний для успешной интеграции новоприбывших. Почти в каждом из штатов, куда прибывают эмигранты, еврейские организации помогают им искать работу, нередко оказывают материальную поддержку и, конечно, пытаются приобщить их к еврейской религиозной жизни. Но очень часто не встречают по-

нимания. Возникает вопрос, откуда это равнодушие, где его истоки? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо было выяснить отношение эмигрантов к специфически еврейским аспектам американской жизни. Анализ был проведен на четырех уровнях, которые условно назовем: "активный" — членство в синагогах; "косвенно-пассивный" — учеба детей и внуков в еврейских школах; "прямой пассивный" — общее знакомство с еврейской историей, праздниками и традициями и "пассивный" — общее знакомство с еврейским наследием и культурой.

Итак, первый вопрос: "Принадлежите ли вы к еврейскому общественному центру — к его социальному клубу, спортивной организации, синагоге (ортодоксальной, консервативной или реформистской) ?"

Я специально пользовался словом "принадлежите", а не более конкретным понятием, чтобы дать возможность положительно ответить при любых формах общения. Были получены следующие данные:

бывают в еврейских центрах — 49,2%
в социальных клубах — 5,4
в спортивных клубах —3,8
в синагогах — 43,2 (в том числе в ортодоксальных — 10,1%, консервативных — 16,9, реформистских — 16,2)
никаких контактов с еврейскими организациями не поддерживают 26,2%.

Эти цифры вызывают некоторое недоумение, поскольку членство в еврейских центрах не предполагает в первый год эмиграции никаких членских взносов. И если, например, человек в силу плохого знания английского не может слушать лекций, то пользоваться спортивными залами он может, не говоря уже о том, что еврейский центр открывает путь к знакомству с Америкой и американцами.

Общее число принадлежащих к синагогам (43,2%) чрезвычайно высоко не только для американского общества, но даже и для Израиля. Вероятно, вопрос был понят несколько иначе: "Посещаете ли вы синагогу?" Но и из этой цифры можно сделать несколько выводов. Есть четкая взаимосвязь

между возрастом человека и типом синагоги, которую он посещает. Средний возраст бывающих в ордоксальной синагоге самый высокий — 64,5 года; консервативную синагогу посещают люди, средний возраст которых 48,1; реформистскую — 57,3. Здесь удивление вызывает следующее. Если у посетителей ортодоксальной синагоги и можно было ожидать столь высокий возраст, то, казалось бы, реформистской синагоге будут отдавать предпочтение куда более молодые люди.

Посмотрим теперь, как распределяются посещающие синагогу по городам:

Нью-Йорк — 10%
Чикаго — 4,6
Филадельфия — 2,3
Лос-Анджелес — 0,8
Сан-Франциско — 0,8
Сан-Луис — 0,8%.

Итак, на 6 крупных городов США приходится 19,3% бывающих в синагогах. Общее их количество 43,2% опрошенных. Это значит, что остальные распределяются по сорока пяти маленьким городам Америки, где, как правило, существуют лишь консервативные и реформистские синагоги. Этим и можно объяснить, что все три синагоги посещает почти равное количество людей.

Интересно, когда именно бывают люди в синагоге — в еврейский Новый год, в Судный день, другие праздники или в субботу?

Этот вопрос был задан всем участникам опроса.

19,2% не бывают в синагоге никогда.

Более всего людей приходит в синагогу в Новый год и Судный день — 32,3

В Новый год, Судный день и в субботу посещают синагогу 30,8.

Или в Новый год, или в Судный день — 3,1 и 3,8%.

В субботу — 10,8%.

В наиболее торжественные праздники — Новый год и Судный день — евреи всего мира по традиции хотят быть вместе.

То же стремление мы наблюдаем и среди советских евреев. Даже те из них, кто систематически в синагоге не бывает, в эти праздники идут туда. Отсюда и общая цифра посещающих синагогу в Новый год и Судный день — 63,1%.

Есть, однако, две цифры, вызывающие недоумение. Это люди, идущие в синагогу лишь в один из двух праздников. Как правило, если человек ощущает хоть какую-то причастность к еврейской культуре и религии и идет в синагогу в Новый год, то он приходит туда и десять дней спустя — в Судный день.

Итак, общая цифра посещающих синагогу в праздники перевалила за 70%. Это никак не ниже чем процент американских евреев, бывающих в синагоге. Так обстоит дело с активным уровнем приобщения к еврейству.

Следующий уровень — косвенно-пассивный — когда дети и внуки посылаются в еврейские школы.

Опрос показал, что 23,8% отдают своих детей в еврейские школы. Кстати, эта цифра совпадает с количеством людей, объяснивших свой выезд стремлением дать детям еврейское образование.

Чтобы выяснить, насколько серьезен выбор еврейских школ, был задан дополнительный вопрос: "Получаете ли вы финансовую помощь на обучение детей?". Из ответов следовало, что из всех, кто посылает детей в еврейские школы, такую помощь получает только 16,7%. Следовательно, экономический мотив здесь не был решающим.

Был в анкете и другой вопрос: "Назовите три главные причины, почему вами была выбрана именно еврейская религиозная школа?" Вот ответы:

— Чтобы привить детям основы иудаизма — 35,5%
— Эти школы лучше, чем "паблик-скул" — 35,5
— В этих школах лучшая дисциплина — 22,6
— Лучшая социальная среда — 12,9
— Развивают еврейское самосознание и еврейскую солидарность — 29%
— Еврейские школы дают знание еврейской истории и языка — 16,1

— Развивают веру в Бога и прививают знание еврейских законов — 9,7

— Высокий уровень этики — 9,7

— Развивают уважение к родителям — 12,9

— Способствует развитию уважения к США — 3,2

— Еще не знаю, почему — 9,7.

Все эти ответы можно разделить на три группы: мотивы религиозного характера (45,2%), мотивы, связанные с национальным сознанием (45,1%) и, наконец, мотивы, не имеющие отношения ни к религии, ни к национальному сознанию (93,6%). (Пусть читатель не удивляется большим цифрам, ведь каждый должен был дать три ответа.)

Таким образом, суммируя, следует отметить, что религиозный фактор не был доминантным, главный мотив — стремление дать лучшее образование детям.

Мы снова подходим к вопросу еврейского воспитания и образования. В связи с этим я хотел бы ввести понятие "прямое пассивное восприятие еврейской жизни". Под этим я подразумеваю неуглубленное знакомство с еврейской культурой. В анкете был вопрос: "Познакомились ли вы после выезда из СССР с мировой еврейской историей, историей евреев в России, Америке, историей Израиля?"

Выяснилось, что с еврейскими праздниками познакомились 82,3%, частично узнало о них — 9,2 и не познакомились 8,5%.

С историей евреев в России познакомились 33,1%, частично 5,4; не познакомилось — 61,5%.

С историей евреев в Америке соответственно: 17,7%, 6,9 и 75,4%.

С историей Израиля познакомились 49,2%, частично — 13,8, не знакомилось —36,9.

Эти цифры противоречат данным, относящимся к чтению литературы по вопросам еврейства. Напомню, что в СССР на эти темы читали лишь 15,4% опрошенных; то же количество читающих о еврействе сохранилось и в Риме. В США этот процент вырос до 31,5. Каким же образом шло знакомство с историей еврейства (а из приведенных выше цифр видно, что

уровень этого знакомства очень высок). В анкете был поставлен вопрос: "Прослушали ли вы курс лекций или просто читали книги ?" Ответ: книги читали 50% и столько же не читали ничего. Из тех, кто читал, только 12,3% перечислили конкретные названия. Остальные ограничились ответами: "много", "некоторые". Специальные курсы лекций по еврейской истории и религии прослушали 16,5% — и никаких лекций на эту тему не слушали 83,5. Темы лекций назвали только 2,3%, остальные ограничились общими сообщениями: "слушал", "много слушал".

К сожалению, эти ответы не подтверждают полученные ранее — о широком интересе опрошенных к еврейской истории. Это приводит к заключению, что предыдущие ответы были порождены стремлением выдать желаемое за действительное.

Чтобы установить достоверность того или иного ответа, социолог должен проверять его на многих уровнях. Поэтому я вновь обратился к эмигрантам с вопросом, позволяющим выяснить, насколько они знакомы со всеми перипетиями истории евреев, включая Россию, Америку и Израиль. Особенно это было интересно в отношении тех, кто как один из мотивов для выезда из СССР указал желание дать детям еврейское образование.

Из этой группы только 19,1% перечислили названия книг; не указали названий, но тем не менее сказали, что кое-что читали, 13,8%. Однако 57,1% ответили на этот вопрос отрицательно. И даже те, кто стремился дать детям еврейское образование, не продемонстрировали активного стремления подробнее узнать об истории евреев.

Теперь обратимся к тому, что я назвал "пассивным" уровнем знакомства с еврейством, включая и знакомство с Израилем.

"Думаете ли вы, что можно совместить глубокую приверженность еврейской религии со стремлением быть современным человеком?". Вот как выглядит общая картина ответов .

	Да	Нет	Не уверен
Всего по всей группе	71,3	19,4	9,3
Их возраст	54,8	50,3	50,5
Люди, имеющие начальное образование	70,0	20,0	10,0
Их возраст	64,1	35,5	46,9
Люди, имеющее среднее образование	60,9	30,4	8,7
Их возраст	48,1	56,4	49,0
Люди, имеющие профессионально-техническое образование	63,4	21,4	14,3
Их возраст	57,0	48,7	46,5
Люди, имеющие высшее образование	76,1	15,5	8,4
Их возраст	55,0	45,0	61,0

Из всех опрошенных 71,3% полагают, что эти ценности совместимы. (Читатель уже, вероятно, обратил внимание на то, что уровень образования и возраст отвечавших на этот вопрос имеют немалое значение.) Однако при всей разнице ответов, они прежде всего указывают на наличие не столько точного знания, сколько на какое-то общее, хотя и положительное представление о совместимости религии и светской профессии. И эта совместимость может служить основой для развития национального и этнического уровней еврейского самосознания.

ЕВРЕЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Проблема еврейского самосознания довольна сложна и поэтому может быть несколько подходов к ее изучению. Мы часто слышим о том, что советские евреи начисто лишены еврейского самосознания. С другой стороны, мы немало читали о стремлении евреев СССР жить со своим народом.

Говоря о еврейском самосознании, я бы хотел выделить два подхода или, как говорят социологи, два уровня — политический и этнический. Чтобы выяснить, какой из них преобладает, я попросил опрошенных для начала назвать имена трех наиболее уважаемых ими еврейских лидеров (в Америке или Израиле).

17,1% опрошенных вообще не смогли назвать ни одного имени. Всего же было упомянуто 30 имен. Но большинство опрошенных остановилось на 8-ми. Привожу их по порядку.

Голда Меир — 49,5%
Бен-Гурион —38,7
Бегин — 36,9
Даян — 26,1
Жаботинский — 15,3
Герцль — 14,4
Вейцман — 12,6
Любавический ребе — 9%

Особую группу представляют собой так называемые еврейские лидеры, которые никогда не были евреями: Линкольн, Рузвельт, Трумен, Никсон, Картер, Кеннеди, Вильсон, Вашингтон, Джексон. Эти ответы составили 14,4%. Всего число людей, давших подобные ответы, вместе с группой вообще не ответивших на этот вопрос составляет 31,5%.

Но вернемся к тридцати названным именам исторических деятелей. Кроме перечисленных, опрошенные назвали Бар-Кохбу и Иуду Маккавея. В числе тех же тридцати мы находим и американских евреев — политических деятелей: Киссинджера, Джавица, Нахума Гольдмана, а также израильских политических лидеров — Переса, Рабина, Навона, Аба-Эвана и рабби Кахане.

Но остановимся на центральной группе, назвавшей 8 имен. Эти имена можно подразделить на две группы: лидеров сионизма и Израиля и лидеров американской религиозной общины.

В свою очередь лидеров сионизма и Израиля разделим на три подгруппы: основатели политического сионизма — Герцль, Жаботинский и Вейцман. Вторая подгруппа — это те, кто умер или сошел с политической арены — Голда Меир, Бен-Гурион, Даян. Третья — это собственно один человек — лидер нынешнего израильского правительства Менахем Бегин.

Суммируя эту информацию, можно сказать, что самосознание советских евреев как бы концентрируется не на религиозном уровне, а на политическом, причем прежде всего их привлекает Израиль и его лидеры.

Если мы примем это как доминантный факт, то остается объяснить, почему же эти люди эмигрировали в США, а не в Израиль. Одна из главных причин в том, что Израиль постоянно находится в состоянии войны. В памяти советских евреев сохранились ужасы второй мировой войны. Чтобы выяснить, существует ли связь между этой памятью и страхом перед войной в Израиле, в анкете были поставлены следующие вопросы: "Считаете ли вы возможным достижение мира на Ближнем Востоке? Если да, то когда?"

57,7% полагают, что мир возможен

42,3 — считают, что мир в ближневосточном районе никогда не будет достигнут.

Те, кто верит в достижение мира, одновременно выдвинули условия, при которых они считают его возможным:

"Советский Союз перестанет поддерживать арабов" (8%);

"Запад найдет другой источник энергии и не будет зависеть от арабской нефти" (8%);

"США перестанут предавать Израиль" (16,2);

"Изменение политического режима в СССР" (4%);

34,7% считают, что мир может быть достигнут лишь "в далеком будущем".

17,3% выразили надежду на мир, но заявили, что они не знают, когда и при каких обстоятельствах он будет достигнут.

Для дальнейшего анализа примем всю группу, отвечающую, что мир на Ближнем Востоке возможен, за 100%. И тогда количество людей, предающихся мечтам о мире, составит 72%.

Лишь 28% обозначили дату достижения мира — 80-е годы, не оговаривая специальных условий, сопутствующих его достижению.

Таким образом, из всех факторов, отрицательно влияющих на эмиграцию в Израиль, война является доминантным.

Своего рода кульминацией в исследовании психологии

советских евреев был вопрос: "Воспользовались ли бы вы возможностью выехать по израильскому вызову, зная, что не сможете попасть в США?" Отрицательно ответили 18,5%. Их средний возраст 61,7 года. "Не уверены" — 17,7. Средний возраст "неуверенных" — 50,9. "Да, эмигрировали бы" — ответили 63,8%; их средний возраст 51 год.

Ответы на этот вопрос помогают нам установить центральный элемент еврейского самосознания, включающего религиозный, этнический, культурный, общественный и политический аспекты.

Итак, 63,8% всех опрошенных готовы были эмигрировать из СССР даже в том случае, если бы им пришлось ехать только в Израиль; 36,2% остались бы в Советском Союзе.

Я оценил эти данные как вполне достоверные, поскольку они относятся к решению, принятому несколько лет назад. Кроме того, каждый вопрос предполагал абсолютно конкретный ответ. Поэтому я использовал полученные результаты для проверки точности ответов на другие вопросы.

Среди причин, побудивших советских евреев уехать из СССР, были две главные: желание жить в свободной стране (88,5%) и избавиться от советского антисемитизма, прежде всего от его государственных форм (86,9%). Эти данные опровергаются ответом на последний вопрос. Ведь 36,2% опрошенных вообще не покинули бы СССР, если бы не имели возможности выехать в США, и им не мешали бы ни антисемитизм, ни отсутствие свободы.

А каковы те основные причины, которые побудили эмигрантов выбрать именно Америку? Желание жить в свободной стране — 82,3% и желание свободно чувствовать себя евреем — 79,2%. Опять-таки вспомнив, что группа в 36,2% готова была остаться в СССР, можно сказать, что для многих назвавших эти две причины, на самом деле они не были решающими. Ведь получалось, что жить в свободной стране и свободно чувствовать себя евреем — это значит жить только в Соединенных Штатах Америки.

Посмотрим, какие ответы давались этой группой (36,2%) относительно причин выезда из СССР и эмиграции в США.

85,1% назвали антисемитизм в качестве главной причины отъезда из Советского Союза, а 61,7% назвали главной причиной въезда в Соединенные Штаты желание чувствовать себя свободно евреем. Значит, эти 61,7% в принципе были готовы к мирному сосуществованию с советской реальностью.

А как обстоит дело с желанием дать детям еврейское образование? В этой группе (36,2%) только 12,5% высказало такое пожелание. Сам по себе этот процент очень низок. Ко всем этим противоречиям добавим еще одно, не лишенное курьеза: 25% из группы, которая осталась бы в СССР, если бы должна была ехать только в Израиль, отдали своих детей учиться в еврейские религиозные школы.

Все эти данные весьма ярко характеризуют определенную систему ценностей советских евреев. Получается, что треть всех опрошенных была готова пожертвовать и свободой, и желанием свободно чувствовать себя евреем, даже была согласна жить в атмосфере антисемитизма, если бы перед ними не открывалась возможность уехать в Америку.

Интересно, как распределяются все те же 36,2% опрошенных по городам.

Харьков — 42,9%
Киев — 41,9
Рига — 40
Одесса — 29,2
Ленинград — 26,7
Минск — 25
Ташкент — 25
Москва — 8,3
Львов — 0

Эти результаты довольно красноречивы. Например, разрыв между Москвой и Ленинградом достаточно велик, в то время как эти города, как правило, рассматриваются в одной и той же категории. Дать какое-то рациональное объяснение этому я затрудняюсь.

Цель рассмотренных в этой главе вопросов — выяснить структуру еврейского самосознания.

Подытоживая все вышесказанное, можно, очевидно, говорить о том, что в еврейском самосознании иммигрантов доминирует политико-национальный элемент.

Это проявляется прежде всего в постоянном и неугасающем интересе к Израилю, интересе, который виден и по тем книгам, которые читаются иммигрантами, и по тем газетным и телевизионным новостям, на которых прежде всего концентрируется их внимание, и по названным еврейским лидерам, и, наконец, по количеству людей, посетивших или собирающихся посетить Израиль.

Другие же элементы еврейского самосознания — религиозный, этнический и культурный — вторичны.

Окончание в следующем номере.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ОТЦЫ И ДЕТИ

Из серии "Здесь и там"

Что побуждает советских евреев покидать СССР? Как мы знаем из социологических опросов, причин более чем достаточно. И одна из весьма существенных, называемых участниками опросов — это забота о будущем детей.

Я и сам помню эти бурные предотъездные обсуждения на тему: ехать — не ехать. Даже тогда, в начале семидесятых годов, мнения нередко расходились. Иные открыто выражали сомнение, удастся ли устроиться, как будет со специальностью, как с языком, но вот появлялся аргумент, которому невозможно было противостоять. Да, возможно, нас ждут тяжелые времена: кто знает, как сложится в эмиграции жизнь, но дети! Вот ради кого надо ехать.

Я уезжал из России в первые дни 1973 года, почти десять лет тому назад и могу с уверенностью сказать, что на моих глазах выросло новое поколение иммиграции: те, кто были детьми, кончили школы и поступили в университеты, те, кто были студентами, сегодня уже ведут зрелую самостоятельную жизнь в свободном мире.

Родителям пришлось перенести тяжелую ломку, культурный шок. Многие из них и по сей день несут на себе тяжелые последствия эмиграции, связанные с их неумением жить в условиях свободы. Дети, в определенном смысле, пришли на готовое. И лично для меня совсем не риторически звучат слова, что целое поколение эмигрантов 70-х годов принесло себя в жертву детям.

Но значит ли это, что сам процесс формирования нового поколения — возьмем ли мы Израиль или Соединенные Штаты — не был болезненным, что и отцы и дети не оказались перед лицом нелегких и часто совершенно неожиданных проблем?

Всякая эмиграция — это испытание, так вот, совершенно разными оказались испытания, вставшие на пути моподого поколения в Израиле и в Америке.

Для начала — одно немаловажное обстоятельство: трудности, с которыми столкнулись родители, не были трудностями детей.

Приехав в январе 1973 года в Тель-Авив, я сам стал свидетелем культурного шока, пережитого первой волной эмиграции, шока, вызванного прежде всего необходимостью овладеть ивритом, не имеющим ничего общего с современными западными языками. Языком без гласных, без единого знакомого знака и даже читаемого не слева направо, как мы все привыкли, а справа налево.

Многим задача казалась неосуществимой в принципе. Некоторые по этой причине уехали из страны. Ну а дети? Как для них выглядел этот тяжелейший барьер? Для них этого барьера не существовало вообще. Помню, мы с женой и все наше тель-авивское окружение еще с трудом складывали в отдельные фразы плохо запоминавшиеся слова, а наша десятилетняя дочь уже бегло болтала на иврите и даже писала свои первые сочинения.

Нескольких лет оказалось достаточным, чтобы наши дети буквально растворились среди своих сверстников-сабр. Они перенимали у них не только язык, но и свободное, бескомплексное отношение к жизни, которого мы все были лишены с самых первых лет своего советского детства.

Ту же "языковую картину" мы видим и в Америке. Я знаю одного нью-йоркского врача, который, прожив здесь почти десять лет и ведя прием в двух своих собственных поликлиниках, не устает обращаться к своему шестнадцатилетнему сыну за консультациями по английскому: "Миша, отредактируй письмо... Как на хорошем английском будет то, как будет это?"

Но если бы все проблемы иммигрантской молодежи сводились к языку и культурной интеграции, то, строго говоря, и проблем бы не было.

Испытания для нового поколения — и в Израиле и в Америке — наступают примерно в одном и том же, семнадцатилетнем, возрасте. Психологи называют этот возраст переломным, и перелом этот выглядит болезненным вообще для молодежи современного общества. Но эмиграция, как мы увидим ниже, в огромной степени заостряет эту проблему — по-своему в Израиле и по своему в Америке.

То, что наши дети свободно овладевают ивритом или английским, что они сравнительно легко интегрируются на Западе, — все это еще не избавляет их от влияния родителей, семьи, традиций, которые часто находятся в противоречии с влиянием и традициями Западного общества. Возникает ситуация двойного давления. Биологический инстинкт побуждает родителей растить детей по своему образу и подобию. Окружающая жизнь противостоит этому давлению. Ниже я попробую показать, какие парадоксальные формы приобретает этот возникающий на эмигрантской почве конфликт отцов и детей. А пока вернемся к проблемам молодого поколения в Израиле.

Главное испытание, перед лицом которого оно оказывается, — это армия. В России традиционно, с дореволюционных времен, еврейские дети не служили в армии. Сила этой традиции, умноженная советским антисемитизмом, продолжает действовать и в наши дни. Считается, что в армию попадают лишь неудачники, неспособные поступить в вуз. Да и в глазах самой молодежи служба, сопряженная с антидемократизмом, муштрой, издевательством над солдатами, воспринимается,

как тяжелый крест. Как наказывают еврейских активистов? — Кого тюрьмой, а кого армией, — одно не лучше другого.

Неудивительно, что вместе с советской психологией эмигранты из СССР вывозят и определенное отношение к военной службе. Армия — это наказание, которого надо избежать. Разумеется, умом они, как и их родители, понимают, что израильская армия — это совсем другое, это армия их национальной Родины. Уезжая, многие уверяют, что сразу же по приезде в Израиль пойдут служить в ЦАХАЛ — армию обороны Израиля. Тут-то мы и сталкиваемся с реальным жизненным конфликтом, наблюдаемым во многих семьях иммигрантов. Что там ни говорите, но даже в Советском Союзе их дети по окончании школы шли в институты. Куда же еще, если не в институт? Правда, и в Израиле некоторые выпускники школ получают отсрочку, но это только отсрочка и только для очень узкого и способного меньшинства. А остальные обязаны служить и в случае военных действий, подобно развернувшимся в Ливане, идти на передовую. Ситуация советским эмигрантам совершенно незнакомая и непривычная.

Между тем военная служба в Израиле — это главный (если не единственный!) показатель патриотизма. Именно тут мы и наблюдаем весьма неожиданные повороты эмигрантских судеб. Социологи провели опросы, правда, сравнительно небольших групп новых иммигрантов, уезжающих из Израиля в Америку. Едва ли не пятьдесят процентов, отвечая на вопрос относительно причин отъезда, говорили, что они не хотят, чтобы их дети служили в армии. Или еще резче: не хотят, чтобы их дети погибли на войне. Не правда ли парадокс: забота о будущем детей, толкнувшая на выезд советских евреев на национальную Родину, оборачивается их нежеланием эту родину защищать.

Но для всех ли иммигрантов характерно это стремление? Опросы дали весьма интересные данные. Оно прежде всего проявляется у тех, кто прожил в Израиле сравнительно короткое время и, по существу, не успел интегрироваться в стране. Те же, кто прожил более длительные сроки (более

пяти лет) службу своих детей в армии считают естественной, а уклонение от нее предательством интересов страны. А это значит, что инерция советской психологии не является фактором постоянным, а постепенно исчезает под влиянием норм и условий жизни свободного общества. Именно отслужив армию, молодые иммигранты чувствуют себя настоящими израильтянами. Впрочем, как и сабры, они не любят распространяться на эту тему. Любовь к Израилю — это как бы подразумевается, как подразумевается их долг по первому вызову явиться на призывной пункт.

Что значит принять Израиль? Или давайте поставим вопрос шире: что значит стать подлинным гражданином еврейского государства? Это значит не только обрести дом — одну из важнейший ценностей человеческой жизни. Это еще значит и готовность многое отдать. Если надо, даже отдать собственную жизнь во имя спасения этого дома.

Но отчего же эту готовность не проявляют столь многие эмигранты, еще недавно скандировавшие на демонстрациях: "Отпусти народ мой" и готовые ради этого идти в Сибирь, а теперь покидающие новую родину из-за нежелания ее защищать? Кто они — дезертиры? Изменники? Не будем спешить с оценками Фактически эти люди оказываются перед лицом тяжелой моральной проблемы. Этой проблемы не существует для сабр — они родились и выросли на этой земле. Защищая Израиль, они защищают свою жизнь. Погибая за него, они погибают за самих себя. Вот этого живого ощущения Родины — не в лозунгах, не на демонстрации, — а впитанного с молоком матери и лишены выходцы из СССР — по крайней мере на первых порах. Отсюда и Израиль для них лишь место эмиграции, лишь убежище, которое из страха за своих детей они меняют на другое — Германию или Америку или Австралию.

На фоне этих размышлений может показаться, что в Америке наше новое поколение вообще не сталкивается с проблемами. Америка не знает ни войн, ни обязательной воинской службы. Перед любым юношей или девушкой открывается дорога в колледж, в университет, дорога к счастливой и ничем не омраченной жизни. Но столь ли гладкой является эта дорога?

Америку часто называют страной огромных возможностей. Мне кажется, это верное, но недостаточно полное определение. Это страна огромных возможностей, но и огромной личной ответственности человека. В Америке дети иммигрантов не служат в армии. Но посмотрите, как отличается их жизнь после тех же переломных семнадцати лет от жизни их сверстников в Советском Союзе. Более 90 процентов выпускников советских школ, поступивших в очные вузы, не работают. Грошовой стипендии, которую им платят, не хватает даже на карманные расходы. Вплоть до окончания вуза они остаются иждивенцами — школы, государства, родителей. ("Пусть учится, я уж как-нибудь его прокормлю!") Так у молодежи рождается иждивенческая психология, которая не исчезает и позже. Более того, она укореняется в сознании советских граждан. Государство обязано дать работу. Дать квартиру. Мера личной ответственности человека нередко близка к нулю. А в Америке? Дело не только в том, что 90 процентов молодежи, поступающей в колледж, начинает работать, а в том, что выход из школы означает выход в иную — взрослую, полную ответственности жизнь. И тут ситуация у наших детей та же, что и у американской молодежи. Отличие разве что в способности воспринять эту новую жизнь, эту возможность — жить не в планомерно организованной и всесторонне регламентированной советской зоне, а в свободном мире, где все зависит от человека, где он может в равной степени вырваться и пропасть.

Как часто мы задаемся риторическим вопросом: готовы ли мы к жизни в свободном мире. И как редко экстраполируем этот вопрос на жизнь наших детей.

Я знаю, что вступаю в область чрезвычайно острую и болезненную, поднимаю тему, которую куда как приятнее обойти молчанием. Но все же взгляните на своих детей и на детей своих знакомых, вдумайтесь в круг их интересов и не спешите с выводами, к выводам мы еще вернемся.

Выше я говорил о ситуации двойного давления. Та же ситуация была и в России. С одной стороны, семья; с другой — жестокий и сметающий все на своем пути режим. Как часто семья одерживала верх в этом неравном противоборстве, одна против школы, института, идеологии. Я не хочу углубляться в эту тему, но разве в окружавшей нас лжи и двоемыслия так уж бесплодны были наши старания вырастить порядочных людей? Разве в мире, где, в сущности, ничего не осталось от литературы и искусства, мы не внушали нашим детям любви к прекрасному? В мире, где все так легко предавалось, мы не заставляли их верить, что не хлебом единым жив человек и что дружба, честь, любовь — не есть пустой звук в этой жизни? Все, чем оделило нас наше жестокое время, мы старались передать им. И, похоже, преуспели в этом: мы смотрели на наших детей и с гордостью отмечали в них черты, которые были отняты у нас самих. Нам казалось этого мало, и мы решили эмигрировать — у каждого были свои причины, но дети были одной из главных.

И уехали в Америку — самую свободную, демократическую и цивилизованную в мире страну. Настолько демократическую, что ситуация двойного давления становится все более бессмысленной. Чему противостоять и во имя чего противостоять? Вот так в нашей иммигрантской среде и родилась эта философия: предоставить детям полную свободу. Пусть живут, как все американцы! Сами зарабатывают, сами тратят, на что хотят — парти, бары, мотели, Лас-Вегас, бой- и гел-френды..

Я уже писал, как нелегко нам приходится в джунглях свободы. Это нам-то взрослым, умудренным опытом прошлого, пусть тяжелым, иногда трагическим опытом, но в чем-то и бесценным, ибо принесшим нам драгоценное умение насмерть стоять за себя. Я спрашиваю: а с каким жизненным опытом мы отпускаем наших детей — туда же в джунгли свободы? Но словно не туда, а в веселый и занятный лунапарк!

Мы, прошедшие через советскую тюрьму, хоть знаем, что мы любим и что ненавидим. А что любят и ненавидят они и к чему стремятся и во имя чего живут в этом не знающем себе равных по богатству обществе?

В нищем по сравнению с Америкой Израиле нет и намека на эти богатства. Но там есть что-то другое, что в нашей скоротечной жизни не так уж мало значит. Мужчины знают, во имя чего они воюют. Мальчики знают, зачем им становиться мужчинами. Дети знают, зачем им становиться взрослыми. Я перебираю одного за другим друзей и однокашников своей двадцатилетней дочери. Вот студент-медик Иерусалимского университета, единственный сын профессора-историка, остряк, балагур и насмешник. В свои двадцать лет он уже военный фельдшер израильской армии. А вот другой — сын развозчика молока из Тель-Авива, восемнадцатилетний поэт, так и не успевший поступить в университет и ушедший танкистом на ливанскую войну. А вот еще один, недавний рижанин, а ныне житель Несционы, за свои блестящие математические способности получивший отсрочку от армии и поступивший в Тель-авивский университет на факультет атомной физики. О! Все они не пуритане, они любят жизнь и ночные клубы и у всех у них есть подружки. Но, кроме этого, есть еще и идеалы. Да, идеалы! Мы-то ведь и слова этого стесняемся, дабы не быть поднятыми на смех нашими детьми. Какие идеалы? Какая поэзия? Что мы в России, что ли?

Спросите вашего сына или дочь, сколько за этот год ими прочитано книг, русских, американских, все равно каких? Когда они в последний раз были в театре, помнят ли, что это такое? Очень интересно, что вам ответят и еще интереснее, как вам ответят.

Я был свидетелем, как одна наша знакомая набросилась со слезами на шестнадцатилетнюю дочь за то, что та ночью не пришла домой. Мать нашла у нее в сумочке марихуану и билась в истерике.

Дочь смотрела на нее недоумевающе-насмешливым взглядом и успокаивала: "Тэйк ит изи!"

Я меньше всего хотел бы говорить о наркотиках, разврате или потерянном поколении — оставим эти прописи советской пропаганде, у которой, кроме них, нет ничего, чтобы оправдать убожество жизни советской молодежи.

Нет, я говорю о наших обычных и вполне нормальных де-

тях. Я знаю разных: и тех, кто, окончив университеты, уверенно входят в жизнь, и тех, кто, оказавшись в мире, где все не так, где все доступно, могут просто-напросто потерять себя. Внешне, может быть, и они останутся теми, что есть, нашими милыми, добрыми детьми, но только не будут различать старомодные вещи: что есть добро, а что зло, что красота, а что уродство, что наслаждение, а что пресыщенность, что любовь, а что похоть... И не будет ли слишком поздно, когда, в ужасе обнаружив эту вдруг открывшуюся нам пустоту, мы услышим это такое милое, такое снисходительно-насмешливое: "Тэйк ит изи".

Похоже, что многие в этой стране неплохо обходятся без поэзии, без утренних рассветов и вечерних зорь. Живут, рожают детей, делают доллары и создают не знающую себе равных цивилизацию. Но, может быть, величие этой страны как раз в том и состоит, что в ней все возможно наоборот.

Понимаем ли мы это? Или только механически твердим про американскую демократию, а про себя уверены, что Америка — это лишь бизнес, доллары и марихуана. И скучные вечно спешащие люди, которым даже некогда проглотить гамбургер. И пресный хохот по телевизору. И ломящиеся от пресной пищи прилавки. И такая же пресная стремительная жизнь, в которой у человека не остается времени подумать, зачем она ему нужна. Есть и такая Америка. А есть и множество других, похоже они и по сей день скрыты от нас за семью замками!

Впрочем, всякий сам строит свою Америку — не в Нью-Йорке, не в Алабаме, не в Техасе, а внутри самого себя, вырабатывая собственную модель жизни — хочет с зорями и поэзией, а хочет без них, с одним лишь голым бизнесом и с одними голыми долларами. Свобода есть свобода, и в свободном мире каждому свое. Но, выбирая себе Америку, давайте подумаем и о наших детях — основательно и серьезно, как некогда думали в России. Какая будет эта наша Америка, такими станут наши дети.

Борис ХАЗАНОВ

ПИСЬМА БЕЗ ШТЕМПЕЛЯ

Январь 1978

Дорогой друг!

Мысль обменяться письмами, когда можно просто поговорить, все же не кажется мне такой уж странной: вспомните, что свою "Переписку из двух углов" Михаил Гершензон и Вячеслав Иванов вели, сидя буквально в одной комнате. На бумаге все получается и легче, и труднее; я помню, как я писал в юности письма о любви девушкам, которым было бы гораздо проще сказать это устно, — проще, но невозможно, и не только потому, что стыдно: устно были бы не те слова. Я помню, как идея написать письмо и выразить свои чувства разом и до конца явилась мне как внезапное озарение, чуть ли не как смысл жизни: написать о любви показалось важней самой любви; и, Боже, с каким увлечением, забыв обо всем на свете, я его сочинял! Какой волнующей была эта мысль, что она получит написанное мною и прочтет, как я ждал и боялся следующего дня, когда предстояло

Печатается с сокращениями.

увидеть ее и прочесть на ее лице впечатление от того, что случилось между нами! Что ж, если письма мои к Вам и не будут столь вдохновенны, если мои размышления не имеют никаких шансов соперничать с эпистолярным глубокомыслием Вяч.Иванова и Гершензона, то все же самая тема их не менее притягательна, чем та, которая побудила этих симпатичных мудрецов скрестить на досуге свои деревянные мечи. Впрочем, один из них, как Вы помните, начал с того, что восстал против "сыновнего почтения к истории" — против культурной традиции, все изведавшей и все предусмотревшей...

Август 1978

Дорогой друг!

То, что Вы, христианин, предлагаете мне в качестве продолжения наших тем высказаться о народе, который Библия, наделяя его особой ответственностью, называет избранным и для которого находит самые жестокие и осуждающие слова, меня не удивляет. Один мой товарищ, знавший покойного Корнея Чуковского, рассказывал такой случай. Чуковский предложил детскому издательству проект книжки — пересказ избранных легенд из Ветхого Завета. Предложение было встречено почти с восторгом. Но с единственным условием: чтобы в книге отсутствовали два слова — "Бог" и "евреи". Эта милая история избавляет от необходимости повторять, как близки оба понятия — религия и еврейство.

Вы правы, говоря, что ни один самый ярый враг евреев не пытался отрицать их особой роли в мировой истории, даже если эта роль представлялась ему пагубной. Помнится, в былые годы, когда началось так называемое возрождение еврейского национального самосознания, мы спорили о том, существует ли реальная связь между нами и ветхозаветными избранниками. Но кажется, эта увертюра в самом деле задала тон всей опере. Века проходят, один акт сменяется другим, а из оркестровой ямы слышатся все те же некогда сыгранные мелодии. Каждому поколению предстоит решить заново —

принимать ему свою избранность или отвергнуть.

Я чувствую себя немного растерянным, когда заходит речь о всех таких делах, и все мысли, которые я перебирал и укладывал вот уже столько лет — о религии и абсурде, об иудействе и о России, о себе и о том, куда мне деваться, — все мысли начинают снова шевелиться, как раки в кастрюле. Сказанное Вами не есть простая декларация, но взывает к ответу. Как мне ответить? Я бы мог, кажется, сказать многое и не в силах высказать толком почти ничего.

Начну с чужих слов. Вот запоминающееся место из книги Эрнеста ван ден Гаага "The mistique of the Jews" (1971).

"Немного есть на свете народов, чья писаная история была бы такой же давней и такой же полной, как история иудеев; ибо их история начинается от сотворения мира — с Книги Бытия. И далее она вбирает в себя семейные хроники и семейные тайны, продолжается в переселениях, битвах, в политических институтах и хозяйственных начинаниях, в удачах и неудачах, но прежде и превыше всего это моральная история народа, который верил, что он избран Богом, чтобы выполнить особое предназначение, и который заплатил за эту веру своей необычайной судьбой.

Для чего они были избраны? Ибо конечно же, они были избраны — хотя бы потому, что, пережив неслыханные страдания, сохранились как единое и непрерывно воспроизводящее себя целое. Египет фараонов, державший их в рабстве, — где он теперь? В музеях, в саркофагах. Вавилоняне, ассирийцы развеялись, как дым. Римская держава покорила Иерусалим — и тоже исчезла. И такая же участь постигла славу Греции. О каких-нибудь филистимлянах или моавитянах мы помним сейчас лишь потому, что они воевали с евреями и стали частью еврейской истории.

Языки былых цивилизаций, если и сохранились, то лишь в умах эрудитов; а на иврите и сегодня говорят и поют... Разбитые, пережившие гибель своей столицы, оставившие за собой обугленные обломки своего храма, изгнанные из своей страны, разбежавшиеся по столетиям, разбросанные по всему свету, без правителя, без государства, повсюду гонимые, точ-

но враги человечества, и объявленные богоубийцами — евреи остались в живых. Остались евреи и осталось еврейство. И они все еще верят, что они — избранный народ. И вот теперь, оглядываясь на всю долгую историю, спрашиваешь себя: "Избраны — для чего?"

Когда я это пишу, евреи весело празднуют свой новый 5730-й год. Львиную долю этих пяти тысяч семисот тридцати лет они провели в мытарствах, которые трудно себе представить. Они выжили; большинство их мучителей давно мертвы. Будь они даже терпеливей самого Иова, и то в душе у них не могло бы не шевельнуться подозрение, что они были избраны для страданий. И страданию этому не видно конца. Нацизм ушел, и Гитлер гниет в могиле. Но нет и шести миллионов евреев".

После этих фраз трудно предаться академическому размышлению, не потому, что в них содержится какое-то откровение, они ведь и поразительны тем, что повторяют всем известные факты, но потому, что сами эти факты затыкают глотку всякой разумной речи. Похоже, что жизнь только и делает, что стремится вышибить из евреев столь присущую им веру в человеческий разум. Веру, которая делает их одновременно и мудрыми, и неуживчивыми. Евреи действительно похожи на Иова, но не видно, чтобы Господь собрался вернуть им сыновей и стада.

Какой я ни есть книжный человек, я все же жил не в книгах, а в эту эпоху и в этой стране. Мы не часто встречаемся с абсолютно аморальными людьми, но я таких людей видел. Я был поражен старой как мир мыслью о беспочвенности морали и бесполезности добра. Почему существует мораль? Только ли потому, что люди живут все вместе и порядочному легче жить? Легче ли? Однажды, правда, это было гораздо позже, я прочитал статью известного генетика В.П.Эфроимсона "Родословная альтруизма"; там доказывается, что правила честной игры и даже такие качества, как самоотречение и самопожертвование, выгодны для сохранения рода, и потому очень может быть, что они закрепляются биологически. Мне эта аргументация, при всем уважении к автору, показалась смешной, потому что с моралью дело обстоит так же, как с загнутыми рогами: можно с равным успехом доказывать и их полезность, и их бесполезность. Вся суть в том, что к морали бессмысленно подходить с критерием пользы. Мораль всегда существует вне пользы, если не вопреки ей, — или это не мораль. Но кто ее придумал? Человек, отвечал я. Для чего? Ни для чего. Чтобы чувствовать себя человеком. Чтобы противопоставить себя безумному, равнодушному, абсурдному миру пустых небес и неуютной земли.

Уверенность в том, что ты не одинок и не лишен какой-то абсолютной ценности, составляет основу религиозной веры. Убеждение же, что на тебя одного возложена ответственность за свое существование, что ты сам прокладываешь свою тропу, есть атеизм. Верующие кажутся атеистам несовершеннолетними; атеисты в глазах верующих — сироты. Следовательно, я был атеистом. Я не видел иного порядка в мире, нежели тот, который открывает (или конструирует?) позитивная наука. Когда-то, в век разума, этот порядок сам по себе был доказательством существования Бога. Но потом что-то произошло. Обнаружилось, что порядок мира не имеет отношения к людям и никакой предустановленной справедливости в нем нет: он — не для человека и стремится лишь включить его в качестве объекта в ряд прочих объектов. Я хочу сказать, что для самочувствия человека в мире не имеет значения степень достоверности созданной им естественнонаучной картины мира: важно, что в этой картине не находится места для человека. Какой-то злой рок преследует позитивистов: они вам прекрасно доказывают, что десять заповедей Моисея, с одной стороны, возникли на экономическом базисе жизни кочевого народа, когда он перешел к оседлому существованию, а с другой стороны, порождены клетками мозга с их тончайшей системой переработки сигналов, поступающих извне; но когда здание доказательств возведено, вдруг оказывается, что то, что объяснили и обосновали, куда-то делось, как ребенок, потихоньку сбежавший, пока взрослые дяди вели спор о принципах педагогики. Позитивист всегда оказывается в положении педагога, который ораторствует перед пустыми партами.

Отсюда следует естественный вывод: что "никакого мальчика не было". То есть, что категории морали, справедливости, смысла жизни и т.п. суть фикции. Но тогда за каким чертом! Продолжать жить в таком случае все равно, что продолжать играть в шахматы, когда у тебя съели короля.

Что же из этого вытекало? В абсурдном мире я не видел иного выхода, кроме как делать ставку на самого себя. (Я не отчуждал от себя своих близких. Само собой разумеется, что близкие находятся внутри скобок. За скобками — чужой и бесчеловечный мир. Я говорю не о житейском, а о метафизическом одиночестве.) Что касается предназначения человека, то я находил его в том, чтобы самому определить свое назначение, ибо никто другой за нас это не сделает. Это и значит реализовать свою свободу. Человек свободен — по крайней мере до тех пор, пока он в это верит. Содержанием же этого предназначения является некоторая моральная позиция — назовем ее громко "мораль вопиющего в пустыне", которая не имеет никакого объективного обоснования, но сама себе цель, смысл и основание.

Пусть я книжный человек, подобно моему деду, но не книги меня учили, а жизнь. Я сначала сидел в лагере, потом работал врачом; в каком-то смысле одно стоит другого. И я вспоминал афинского мудреца, который удивлялся, как это философия находит время рассуждать о камнях и сущностях. И я вспоминал стихи Берта Брехта; "Что это за времена, когда разговор о деревьях кажется преступлением, потому что он заключает в себе молчание о погибших". И я вспоминал старого приятеля — лукавого Асмодея, который говорит в "Прологе на небесах": "Мне нечего сказать о солнце и мирах. Я только вижу, как мыкаются люди". Мир безумен и пропади он пропадом. А я буду гнуть свое. Буду держаться, пока жив. А умру — присоединюсь к абсурдному миру, стану его частичкой, веществом, энергией — словом, прахом. Но это буду уже не я. В общем, я брал пример с барона Мюнхгаузена, который тащил себя и своего коня из болота за собственную косичку. И гордился этим.

С некоторых пор, однако, все это начало осыпаться. Мы го¬

ворили как-то, что мировоззрение меняется не так, что чего-то не понимал, а потом поразмыслил как следует и понял. Перемена происходит где-то в глубине души, как новый фильм создается и разучивается актерами где-то в неизвестности, а на экране сознания видишь уже готовый результат. Не то чтобы я вдруг обрел веру и возлюбил жизнь, но перемена заключалась в том, что как-то незаметно я ощутил себя частью некоторого целого, я увидел, что моя судьба есть отблеск другой судьбы, моя никому не нужная жизнь есть все-таки отражение иной, общей и высшей жизни. С философией все это плохо вяжется, но то чувство, из которого рождается и философия, и литература, говорило мне, что что-то повернулось, что-то новое разлилось во мне или в воздухе, что-то такое, что тяготится позой горделивого одиночества или по крайней мере находит такую позицию недостаточной; это чувство словно подвело меня к зеркалу, и я увидел вместо собственной кислой физиономии другую — даже и не мою вовсе. Это не было чувство присутствия Бога в мире, и все-таки, смею думать, оно на полсантиметра приближало к Нему. Может быть, оттого меня так зацепила Ваша уверенность в том, что еврейство — это причастность делу Бога на земле. То общее и целое, чему я увидел себя причастным, были русская интеллигенция и еврейский народ.

Как и для Вас, эти две области для меня перекрывают друг друга, наподобие двух кружков, как их рисуют в учебниках формальной логики, и себя я склонен помещать как раз в заштрихованную — совпадающую — часть. Разъединить их невозможно, как невозможно разорвать две половинки души, можно только попробовать сказать о них по очереди.

Я родился в Ленинграде, на углу Невского и Мойки, в местах, священных для каждого русского. И какая-нибудь строчка "Друзья мои, прекрасен наш союз", и какие-нибудь полтора такта, шесть нот — тема весны из музыки Чайковского к "Снегурочке" — звучат для меня как вечная песнь юности. Я выражаюсь выспренно, но как иначе сказать об этом! Если можно представить себе человека, до костного мозга, до паренхимы надпочечников пропитанного русской

историей, русской литературой, всей стихией русского языка и русской мысли, то это я. Я, представитель населения, которое на языке этого государства, его канцелярий, его идеологов и его народа — именуется некоренным.

У меня такое чувство, словно я жил здесь тысячу лет. Да оно и недалеко от истины. В какой-то статье Розанова написано: "Что им наши беды, татарское иго! Что им чистое имя Пушкина!" Так всегда получается. Наклонился, зачерпнул вонючей жижи из-под ног и швырнул в евреев. Попал в Пушкина. У меня такое впечатление, что и Пушкин, и Бердяев, и кто там еще — своего рода евреи. Когда армия Роммеля во время второй мировой войны приблизилась к границам Палестины, жители одного еврейского городка, выходцы из Германии, стали готовиться к обороне, вырыли окопы и вывесили лозунг: "Город остается немецким!"

Мне смешно слушать рассуждения русофилов о почве и нации, смешно читать их косноязычные упражнения. Что они знают об этой стране? Им бы следовало поучиться русской грамматике.

Я жил в городе и в деревне, в медвежьих углах и столицах. Мне глубоко безразлично, что скажут о людях, подобных мне, патриоты с бородами из пакли, в лаптях, украденных из этнографического музея. Я ходил в таких отрепьях, какие им и не снились. И пусть черт унесет мою душу, если я не имею права повторить слова, сказанные другим человеком и на другой земле: где я — там русский язык, там русская культура.

Но понятие "почвы", если не стесняться произносить это замусоленное слово, имеет для нас свой смысл. Русская почва — это ведь не последняя глубина. Наши корни, пронизывая ее, уходят дальше — в иные, древнейшие геологические пласты. По слову Мандельштама: "И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще, воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане". Мы принадлежим не только этим холмам, не только России, и в этом все дело.

Я всегда ощущал себя евреем и хотел, чтобы и для других это не было тайной. И, значит, никогда не был "ассимилирован". Мне не раз приходило в голову, что наше отношение к

своей "национальной принадлежности" похоже на отношение людей к своей половой принадлежности. Еврейство — это, как пол. Недаром две вечные темы анекдотов — секс и жиды. То, что называется "это самое", в сущности всегда на виду, всегда принимается во внимание и, однако, его прячут, и о нем не принято говорить. Общество чувствует себя скандализованным, когда кто-нибудь во всеуслышание заявляет, что он еврей. Это все равно, что появиться неодетым на улице. Как и пол, как все, что соединено с ним, еврейство представляет собой нечто глубоко интимное, связанное с ядром личности — священное и постыдное одновременно; признаться в нем так же трудно, как признаться в любви или тайном пороке.

Отсюда происходят забавные следствия. Слово "еврей" стараются не произносить. Сколько раз я был свидетелем того, как скромные и благовоспитанные люди, отнюдь не юдофобы, скорее даже симпатизирующие евреям, испытывали трогательные муки, стараясь в разговоре избегать этого слова, которое казалось им нецензурным. Так пациенты, которым нужно рассказать что-то о себе, боятся произнести слово "член": они думают, что оно непристойно. Да так оно и произошло со словами "еврей" и "еврейский", переставшими отличаться в устах русского народа от тех других слов, для которых еще недавно они служили стыдливыми эвфемизмами; в свою очередь и "жид" когда-то был нормальным русским словом. Бюрократия изобрела термин "гражданин еврейской национальности". И что же? Он тоже звучит как ругательство.

Язык разоблачает то, что сам старается скрыть. Языковая ситуация есть верное отражение психологической и социальной ситуации. И одного этого элементарного наблюдения над фактами языка довольно, чтобы понять, что когда говорят, что время от времени мы сталкиваемся с проявлениями антисемитизма, то это все равно, как сказать, что время от времени мы наблюдаем действие земного тяготения. Мы не просто "сталкиваемся" с антисемитизмом. Здесь в России мы находимся в поле антисемитизма, и в душе у нас постоянно вздрагивает стрелка вольтметра, регистрирующего присутствие этого поля. Мы дышим воздухом, где вместе с азотом и кис-

лородом находится газ недоверия, брезгливости, нелюбви и презрения к евреям.

Изредка, иногда чаще, иногда реже, ненависть сгущается вокруг нас, как туман, как бы находя себе наконец применение и оправдание. Но нет надобности декларировать эти чувства, только очень простодушные или очень злые люди говорят вслух о своей неприязни к евреям. Мы читаем эту неприязнь в глазах, юдофобство, подобно запаху, о котором не знают, откуда он взялся, оглядываются и принюхиваются, прежде чем догадаться, что запах этот, как запах кариозного зуба, исходит из уст глаголящего о любви и справедливости. В каком-то смысле можно сказать, что презрение к еврею существует до появления евреев, подобно тому, как любовь может предшествовать явлению той, в кого предстоит влюбиться. И мы видим не без удивления, как юдофобство, будучи не идеей, но особым умонастроением, переменчиво и жизнеспособно, как оно не только хранит верность своему избраннику, несмотря на разительную перемену его облика, — ведь былой местечковый житель, скрипач Ротшильд, которому гробовщик Яков в сердцах кричал: "Что ты лезешь ко мне, чеснок! Житья нет от пархатых!", мало похож на сегодняшнего своего потомка, — но и замечательно приспосабливается к меняющимся условиям и, оставив устарелую, вышедшую из моды и выдохшуюся идеологию, поджидает новую, чтобы оседлать ее, как свежего коня, и ехать дальше. Антисемитизм с успехом эксплуатирует разные и даже враждебные друг другу концепции, он отлично уживается и с "русской идеей", которая без него вроде бы уже и не идея и не русская, и с марксизмом, и с анархизмом, и с чем угодно; вечно юный и воскресающий, как феникс, антисемитизм представляет собой такую же загадку, как и его объект, так что, если и возможно найти объяснение народным чувствам или государственной политике в такую-то эпоху в такой-то стране, то оно, это объяснение, годится только ad hoc; почему антисемитская проповедь пережила все экономические формации и перешагнула любые границы, остается непостижимым, как непостижимо существование самого Вечного

Жида — четыре тысячи лет гибнущего, да так и не погибшего еврейства.

Евреи, пробующие опровергать эту проповедь, должны были бы понять, что все, что они читают о себе в популярных брошюрах и философических трудах, представляет собой сублимацию чего-то другого, коренящегося в низших этажах психики. Это делает антисемита принципиально неуязвимым — нечувствительным к логике, будь это даже простейшая логика выгоды и практической пользы. Конечно, мы живем в стране, где антисемитский образ мыслей и действий приносит ощутимую пользу, помогает устроить жизнь и карьеру; но я видел немало людей, одушевленных истинно праведным гневом, бескорыстных идейных борцов, чей юдофобский энтузиазм был вполне бесполезен. Он им даже вредил. Они знали это, но ничего не могли с собой поделать. И, быть может, они были бы глубоко уязвлены, если бы поняли, что их идейность, их бескомпромиссная убежденность, их мужество и отвага в борьбе с жидами оттого и несокрушимы, что в конечном счете представляют собой, так сказать, мозговой эпифеномен. Я бы даже сказал, что государственный антисемитизм есть некоторое вырождение, коррупция антисемитской идеи. Идея не должна приносить материальных благ.

По-моему, антисемитизм имеет громадное всечеловеческое значение; это отнюдь не частная ситуация преследования малочисленного этнического меньшинства. В конце концов евреев во всем мире ничтожная горстка, их можно сравнить с каким-нибудь микроэлементом в составе органических тканей или горных пород. И никогда не перестанешь изумляться тому, какой шум всегда стоит вокруг этого крошечного народа. На наших глазах количество евреев сократилось почти вдвое, а шум усилился в несколько раз. Государство Израиль выглядит на карте меньше собственной почтовой марки; газеты и радио уделяют ему больше внимания, чем Франции. Легко заметить, что антисемитизм аккумулирует все низменное, завистливое, агрессивное и антигуманное в размерах, намного превосходящих его "емкость" как частной национальной проблемы; этот осел бредет, навьюченный поклажей, из-

за которой не видно его самого. Иногда вдруг замечаешь, что жиды всего лишь повод для чего-то другого, вроде того, как именины или поминки часто лишь предлог для того, чтобы пожрать и напиться; именинника давно нет за столом, о покойнике никто и не вспоминает. Антисемитизм был бы необходим, даже если бы евреев не было вовсе, — можно представить себе жалкую участь безработных патриотов, когда евреи наконец покинут все до одного этот богоспасаемый ковчег. Потому что антисемитизм — это не вражда к евреям, а нечто большее. Антисемитизм — всечеловеческая школа зла.

Я чувствую, что злоупотребил Вашим терпением, уйдя столь далеко в сторону. Однако антиеврейская теза есть в некотором роде доказательство от противного. Феномен антисемитизма наводит на мысль о том, что, быть может, у евреев в самом деле некое метаисторическое предназначение. Или мы обольщаемся на свой счет? Это ведь так легко. Есть гордыня победителя и втрое, вдесятеро превосходящая ее гордыня жертвы. Мне трудно произносить слово "избранничество": кому как не нам знать, чем кончаются разглагольствования о духовной миссии того или другого народа. Сколько было сказано о народе-богоносце! Исступленное красноречие Шатова, ночью, в мезонине, под шум дождя, — ведь это, как кошмар. Перед нами пример общества, которое менее всего имеет оснований выставлять себя в качестве образца для остального мира; а сколько мы слышали заверений в том, что де они одни на всем свете сберегли чистоту и непорочность, одни блюдут Бога посреди отеческих хлябей. Гротескный характер этого национализма должен был бы раз и навсегда отбить охоту противопоставлять ему что-либо подобное.

Разумеется, мне могут заметить, что никакого сравнения быть не может, потому что Россия государственная нация и даже более того, имперская нация, а евреи — что такое евреи? Евреи и не народность в общепринятом смысле слова. Евреи научили идеологов почвенничества выговаривать эти слова: "избранная нация", "народ-богоносец", — а сами перестали быть нацией. Они бросили на дороге шовинистическую шелуху, в которую одета была идея избранности, — пускай подбирает, кто хочет, — а с собой унесли сердцевину.

Итак, на чем мы остановились? Я говорил о том, что для меня есть только один способ определить свое отношение к еврейству, — это осознать свою личную судьбу как судьбу человека, принадлежащего к определенной общественной и национальной группе, той группе, которая укоренена в этой стране до степени самоотождествления с ней, но одновременно представляет в ней иное, древнейшее человечество. Сколько лжи в утверждении, что евреи — это космополиты! И сколько в нем истины. Как трудно ответить на этот вопрос: кто такие евреи? Вдруг начинаешь понимать бесплодность попыток наукоподобного, отчужденного от субъективности определения еврейства. Нужно почувствовать себя частью этого целого, прежде чем соображать, что собственно оно собой представляет. Я — почувствовал.

Думаю, что перемена эта произошла не столько из-за общего подъема национальных чувств, к которому я отношусь скорее с уважением, чем с восторгом, сколько по гораздо более простой причине: я старею. С возрастом не только начинаешь вспоминать о существовании предков, но с удивлением замечаешь, что и они как будто вспомнили о тебе: они все более становятся похожими на тебя. Это известный закон, он в такой же мере приложим к отдельным личностям, как и целым государствам (чему мы в нашем отечестве являемся свидетелями). И пока мы медленно седеем, становимся ниже ростом, говорим все более тихими голосами, пока теряем волосы и зубы, — наши дедушки в облезлых рамах спешно наводят марафет, чтобы выглядеть современней. В итоге мы оказываемся чуть ли не ровесниками. Так, собственно говоря, и прикасаются к истории, выражаясь высоким слогом. Можно сказать по-другому. Старея, начинаешь лучше понимать наш старый народ. Понимать, как он стар. Психологию других, более молодых наций можно постигнуть и в более молодом возрасте.

Эта общность национальной судьбы поразительна. Во всяком случае она очевидна — как общность некоторых клеток

организма, разбросанных по всем его уголкам. Существует предание, что каждый из авторов "Перевода 70 толковников" перевел Библию самостоятельно, но когда сравнили все версии, то оказалось, что они повторяют одна другую чуть ли не слово в слово. Не правда ли, в этом есть какой-то образ, символ, — все мы разрознены, рассеяны, а задай нам тему для сочинения, мы напишем одно и то же.

Два события на глазах одного поколения переменили нашу ситуацию в мире: катастрофа, постигшая европейских евреев во время войны, и появление государства Израиль. Все как будто твердит евреям, что наступает конец двухтысячелетнему рассеянию, и все толкает евреев стать "как все". Став, как все, они, возможно, перестанут быть евреями. Какое неожиданное решение "еврейского вопроса" — упразднить еврейство, сохранив евреев. Настолько неожиданное, что евреи — ортодоксальные иудаисты — сопротивлялись (и сопротивляются) возрождению государственности, а секуляризованные евреи часто уезжают из России не столько ради того, чтобы обрести себя в новом качестве граждан молодого национального государства, сколько просто для того, чтобы уехать. Евреям, как Геку Финну, неохота жить у вдовы Дуглас. Они как будто гордятся тем, что они везде свои и повсюду чужие. Они находят какое-то болезненное удовлетворение в том, чтобы отмечать все новые и новые вспышки людоедского антисемитизма, вновь и вновь вдыхать его запах. Как будто жизнь их была бы неполна без этого запаха. Не знаю, как распорядится на этот счет будущее, и не знаю ответа. Но знаю, что никогда не смогу смотреть равнодушно на огонек, мерцающий на Ближнем Востоке, и знаю, что это отважное маленькое государство никогда не будет оплотом тирании. И знаю другое: вот дан многоязычный, многонациональный мир. И вот — некая этническая группа, бывшая национальность, объединенная общим происхождением, но разбросанная по земле, и эта группа отстаивает в мире определенные моральные постулаты и символизирующие их ритуалы, именуемые культурой. Для других, быть может, сохранение этих постулатов не является жизненно необходимым, у них есть другие опоры, есть суша, на которой они могут окопаться, есть плацдарм, куда они могут отступить. У евреев нет суши, они носятся по морю в своих суденышках и все свое возят с собой. Это свое — есть культура. Это их невидимый град. Евреи воплощают в себе культуру. И если в небесах есть Бог, то это их способ свидетельствовать о Боге.

Будем верить, что это так.

Обнимаю Вас.

Ноябрь 1978

Дорогой друг!

Ваш такт, Ваша терпимость, Ваше ненавязчивое сочувствие ободряли мой пыл, подобно тому, как молчаливое присутствие взрослого, его взгляд и руки, простертые навстречу, ободряют ребенка, ковыляющего издалека — с другого конца комнаты! — на свой страх и риск.

В этих письмах я пытался передать чувства и мысли, свойственные, быть может, не только мне. Я стремился выразить мироощущение человека, который ясно видит нерасторжимость главных человеческих ценностей и религий, но у которого есть свои внутренние трудности усвоения религиозного взгляда на мир. Говоря попросту, я всегда чувствовал, как холодно и скучно жить в мире, где нет Бога. Мне казалось, приди я немного раньше, я бы Его там еще застал. Но парадоксальным образом именно оно, это ощущение неуютного покинутого мира, внушило мне чувство удручающей реальности такого мира. Это — как чувство человека, тупо слоняющегося из угла в угол, шаркающего ногами из одной комнаты в другую; все вещи стоят на своих местах, и горит свет, но нет той, которая своим присутствием придавала смысл всему, делала временное жилье окончательным и превращала его в родной дом. Ее нет — сколько бы ты ни вперялся в портрет на стене, сколько бы ни прислушивался к шагам на лестнице. Bist du nur teuber gost auf dem dunklen Erde — "хмурым гостем ты живешь на земле суровой", как сказал Гете.

Значит ли это, что нам (мне) следует выбрать "бога философов и ученых", подписаться под ответом, который дал Эйнштейн одному нью-йоркскому раввину? Раввин прислал ему телеграмму: "Верите ли Вы в Бога? Ответ в 50 слов оплачен". Как известно, великому физику не понадобилось пятидесяти слов. Он ответил: "Я верю в Бога Спинозы. В того, кто открывает себя в гармонии всего сущего, но не в такого Бога, который заботится о судьбе и делах человека''.

Что-то говорит мне, что это не то. Бог не может быть истиной, которая существует сама по себе. Это, если хотите, противоречило бы определению Бога. Напротив, бог только потому и обнаруживает себя в гармонии мира, что Он в человеке и для человека. И что такое гармония мира? Быть может, только одно: непостижимая способность человека упорядочить мир.

Я чувствую, что рискую снова отклониться в сторону, но вопрос этот далеко не отвлеченный, ведь иррациональное, тяга к иррациональному — одна из доминант воспитавшей нас русской мысли.

Такова уж наша традиция, наша отечественная привычка — мешать в одну кучу философские, нравственные и общественные вопросы; религия и вера в народ, разум и достоинство личности, догматизм и деспотизм — все завязано в один узел у нас в России, все болит и зудит, как старая рана, все до ужаса серьезно, все метафоры мгновенно материализуются; заговоришь о Боге, подойдет участковый и спросит документы, начнешь о Канте, а кончишь каталажкой.

Поразительно, до какой степени единодушны были в своем поклонении народу люди разных убеждений, бойцы всех станов, и западники, и славянофилы, и реакционеры, и либералы, и юные республиканцы, и замшелые монархисты. И автор "Кому на Руси...", и автор "Выбранных мест из переписки с друзьями". И Рахметов, и Шатов. И Лев Толстой, и полубезумный Федоров. И всегда, не прямо, так обиняком давалось понять, что темный народ владеет чем-то, что выше рассудка и просвещения, всегда в основании этой веры лежали недоверие к разуму и культуре. Нет, не недоверие, — вражда.

Вражда к культуре — специфическое русское явление, ничего подобного не знали на Западе, где можно было ставить вопрос хороша та или иная философия, но никому не приходило в голову, что само по себе занятие философией предосудительно, что искусство — роскошь, оскорбляющая бедняков, а наука — развлечение для праздноболтающих.

На Западе занимались логическим обоснованием веры и нравственности. На Западе сменяли друг друга век Возрождения, век Разума и век Просвещения. На Западе прозвучал чистый, как хрусталь, голос Паскаля, сказавшего: "Все наше достоинство в разуме... будем стараться правильно мыслить, вот основа морали". В России же, чтобы не обидеть народ, уверяли себя и других, что культура есть зло, что ум и просвещение — орудия дьявола; в России думали, что если Христос обратился к ученикам со словами: "Будьте как дети...", то это значит, что нужно в самом деле вернуться к детской непосредственности, к букварям и сказкам, что всякое размышление губит веру и условием праведности может быть только отречение от мысли. Об этом хорошо написал один наш современник: он назвал этот комплекс мазохизмом русской интеллигенции. И в конце концов интеллигенция подожглась и сгорела во имя любви к народу, а народ этого даже не заметил, и тощие коровы сожрали тучных, но сами не стали толще, и кривые избы, повалившиеся заборы, громадные расстояния, грязь, скука, холод и невылазная нищета сгубили все, отравили всякую радость жизни, вытравили или поставили под сомнение все свежее, сильное, свободное, оригинальное и талантливое; под бременем беспросветной бедности все это стало казаться непозволительным и непристойным, как непристойно было бы, говоря словами Толстого, — танцевать, идя за плугом. Я чувствую, что растекся по древу сверх всякой меры, но об этом стоит сказать хотя бы для того, чтобы напомнить, какова была себестоимость такого народолюбия и какой ценой было в конце концов заплачено за философию Платона Каратаева, за "не нашим умом, а Божьим судом", за эту проповедь безмыслия. Разве можно отрицать связь между дошедшей почти до юродства антикуль-

турной традиции иррационализма, культом всего убогого и немудрящего, который сто лет подряд проповедовала великая русская литература, и разбитым корытом, вокруг которого мы теперь сидим.

Все повторяется, и через сто лет мы напоминаем старых русских интеллигентов, если не дворян, то разночинцев, московских вечных студентов восьмидесятых годов, мы переняли их образ жизни, их неряшливость, их тоску, их любовь к полуночным словопрениям над остывшим чаем. Бог знает, откуда это взялось, ведь по меньшей мере половина из нас — не русские по крови. Где-то я читал, что когда в начале двадцатого века во Франции небывалый мороз уничтожил виноградники, была привезена из-за моря и посажена американская лоза; но она дала такое же вино, как было прежде. Так и мы — наследники тех прежних, хоть мороз покалечил всю поросль и топор вырубил все ее корни. Но в одном новая русская интеллигенция отличается от старой. Она излечилась от демофилии (отсюда, должно быть, проистекает и ее равнодушие к революционным идеям: она оценила слова Пушкина о русском бунте, бессмысленном и жестоком). Так закончился мучительный роман интеллигенции с народом — бракоразводным процессом. Ничего не изменилось; и в то же время переменилось все. Сама жизнь научила нас, что недостаточно быть невеждой для того, чтобы стать праведником. Что косноязычие — еще не признак высокого духа, что совесть не есть непременный спутник скудоумия, что крестьянское (или пролетарское) происхождение отнюдь не гарантирует от нравственной низости. И что вообще дело обстоит гораздо хуже и сложней. Вера в святость "почвы" питалась убеждением в исключительности этого народа, единственного, кто устоял перед сатанинским соблазном западной цивилизации. И что же?.. Четверть взрослого мужского населения — хронические алкоголики, десятая часть — платные осведомители. Ах, лучше об этом не говорить.

Не потому ли народ так легко отказался от веры отцов и равнодушно смотрел, как взрывали храмы, что он был приучен к бездумной вере, выслушивал слова священника, почти

не понимая их, и что сам этот священник был для него учителем какого-то почти языческого христианства, предписывающего с одинаковой безотчетностью поклоняться священным предметам и предержащим властям.

Что же изменилось — быть может, не столько в самой жизни, сколько в нас самих. Мы как будто пробудились от томительного и сладкого сна. Рассвело, и в сером свете дня мы увидели груду щебня там, где рисовались совсем другие очертания. Есть негромкая, непоказная религиозность, безмолвная вера, тем более удивительная, что она ежедневно подвергается поруганию, — вера, свойственная простому человеку: женщине в черном платке, бредущей за пятнадцать верст по грязной дороге в единственную уцелевшую церковь, святой русской старухе, на которой держится все это кащеево царство; чистый девушке, которую ждет та же судьба; старику, повидавшему все на свете и как будто пережившему самого себя. Вот чистая мелодия народной души. Ее заглушает хамская песня Федьки Каторжного, который украл "зеньчуг", потом покаялся для разнообразия, потом пошел искать другой зеньчуг. Ибо есть другое чувство, такое же безотчетное, сильное и неистребимое, свойственное простому народу никак не меньше, чем непростому, — чувство пустоты и абсурда; есть чувство, выражаемое кратко и сильно, так, как его можно выразить только по-русски: "Нас..ть на все!" Это чувство человека вполне здорового и физически и душевно, знающего жизнь, наделенного ясной головой и памятью, цепкого и сметливого, но которого словно опоили ядовитой желчью, у которого в глазу словно застрял осколок зеркала, оброненного троллем, и он увидел, что все ничего не стоит, все трын-трава — добро и красота, и благосостояние, и семья, и работа. Все обман. Этот человек бескорыстен. Он презирает всех и презирает себя. У него есть особая гордость раба, который вдруг почувствовал себя свободным и которому нечего терять, ни с чем не сравнимое высокомерие человека, для которого века цивилизации и культуры как бы не существовали вовсе; ибо он знает: есть черта, дальше которой никто не пойдет, а он пойдет, перешагнет ее,

не моргнув глазом, истребит самого себя, если на то пошло, но утвердит своеволие. С одинаковым спокойствием пойдет он и на подвиг, и на злодеяние. Так он покупает себе право топтать и разрушать все вокруг себя. Ничто не принадлежит ему ни в его стране, ни в его семье, и поэтому ничего не жаль. Этот человек не аномалия и не выдумка хулителей русского народа, этот человек многомиллионный.

Где уж там толковать с ним о Боге. Бог и заповеди для него такое же вкручивание мозгов, как лекция о вреде пьянства. Этот человек свободен, как может быть свободен тот, кто всецело принадлежит абсурду. Под бичом деспотической власти, ради необходимости заработать на еду и выпивку, он смиряет себя и работает, тяжко и угрюмо, как вол, — но лишь до определенного срока. До следующего праздника воли. Так проходит его жизнь.

Не будем встревать в бесконечный спор о том, кто виноват во всем этом, монголы или Маркс, или опять же евреи, и надо ли вообще искать виновников? Взглянем на то, что есть. Ясно, что это не народ, не христианство, не культура, не Рим, не Афины и не Петербург, это лишь котел, где под пузырями грязной пены варится какое-то будущее. Настоящего — нет. От "почвы" ничего не осталось, следовательно, и с почвенничеством, со всей этой мифологией, основанной на овощных и ботанических аналогиях, делать больше нечего. Старые штаны износились до дыр. Люди мысли и знания, "образованщина" — это и есть наша единственная почва, единственная надежда. Я не против православия, Боже меня упаси. Я только думаю, что новое религиозное сознание, такое сознание, которое будет опираться на разум, а не открещиваться от него, которое вместит в себя и представления современной науки, и наш опыт жизни в России и в цивилизованном мире, которое не будет растворять личность ни в государстве, ни в народе, — такое сознание может выработать только интеллигенция; она и подаст пример остальным. Только она способна удержать от постепенного разрушения на ходу эту колымагу, перед коей посторанивaются другие народы. Я думаю, что православие созрело для глубоких реформ — или новое религиозное сознание пройдет мимо него. Я думаю, что евреи, хороши они или плохи, примут участие в этом развитии.

...Вот теперь о евреях.

С присущим Вам лаконизмом Вы сформулировали несколько идей, вместе образующих некоторый круг. Евреи, чья древнейшая история претворилась в Священную историю, сохранились, чтобы и дальше служить авансценой, на которой бесконечно разыгрывается жуткая и величественная пьеса — Судьба Людей. О евреях нельзя сказать, что они хорошие или дурные, бич для народов или спасение; они — театр, они актеры, и те, кто сидит в амфитеатре, узнают в их сценических приключениях себя и собственную судьбу, узнают со страхом, с отвращением, но и с благоговением, потому что действующие лица пьесы одновременно и люди, и мистические персонажи. Начало мира и феномен человечества, грехопадение, рабство, бегство, свобода и союз людей с Богом, явление Христа, проповедь Христа, предательство Иуды, смерть Спасителя, крушение еврейского государства, рассеяние евреев, гибель евреев во время второй мировой войны и воскресение, добавил бы я, в государстве Израиль, — гибель, утвердившая смысл еврейства как избранничества, и пробуждение после смерти ради нового соблазна, соблазна отказаться от всемирности и стать "как все", — вот акты этой мистерии, которая составляет не то чтобы реальную историю человечества, — человечество погружено в свои заботы и говорит себе, что ему плевать на евреев, — но как бы отражение истории на метаисторическом экране. Так я понял Вашу мысль; правильно ли я ее понял?

Но евреи еще и люди, весьма обыкновенные, часто неприятные, люди, которые, как и все, должны есть, пить, зарабатывать на хлеб и растить детей, и это вынуждает их, за пределами ярко освещенного круга сцены, искать приемлемые компромиссы в общении с другими людьми и с государством. Они могут менять имена, одежду, усваивать язык и обычаи другого народа до полного самоотождествления с ним и, пожалуй, чаще оказываются среди примерных граждан, чем среди врагов правопорядка. Наконец, евреи — часть челове-

чества, а в каждом народе есть немало людей, которым претит противопоставление человеческого национальному. Следовательно, в каждом народе евреи находят не только врагов, но и друзей.

Заканчивая это письмо (и всю нашу переписку), я хочу высказать одну мысль, достаточно, впрочем, общую, которая давно приходила мне в голову. Мысль эта, вероятно, не нова. В века, решающие для духовной жизни человечества, ему была дана религия — в форме откровения. Записанное и усвоенное людьми, оно приняло вид мифа. Затем средневековье проделало громадную работу, пытаясь рационально осмыслить религиозный миф или, вернее, религиозный текст. А далее для религии наступила пора великого испытания. В духовный обиход человечества вошла наука. Ее фундаторы были убеждены, что они служат Богу. Они даже уверяли себя и других, что делают это лучше схоластов. Схоласты подыскивали отвлеченные доказательства существования Бога, а ученые семнадцатого века открывали законы природы, в которых видели конкретные элементы божественного замысла. В дальнейшем наука превратилась в колоссальное здание фактов, теорий, опытных доказательств и практических достижений; это здание представлялось отображением природы, и внутри него гипотеза сверхприродного начала оказалась ненужной. Наука оставила Бога в стороне, и это было воспринято как победа над Богом, одержанная человеком с помощью науки. Целые поколения свято верили в то, что наука и религия несовместимы, не смешиваются, как вода не смешивается с маслом. Мало того, они отрицают друг друга. Точка зрения, которая показалась бы крайне странной Ньютону, стала общим местом для его внуков. На самом деле смысл работы, выполненной естествознанием, был другой. Наука не уничтожила религию, но научила людей мыслить реалистически. Она подготовила людей к мысли, которая в свою очередь не менее удивила бы наших предков, — что религиозное мировоззрение есть в такой же мере дело разума, как и дело интуиции. И вот я думаю, что мы вступили в эпоху, когда формируется новое религиозное сознание. Не новая религия, а именно новое сознание, новое переживание религиозного предания. Искусство двадцатого века, новая техника повествования, неклассическая наука и то, о чем сказал как-то Леви-Стросс, — что наука следующего века "будет гуманитарной либо ее не будет вовсе", — все это этапы подготовки нового религиозного сознания или его компоненты. Близится время великого синтеза. Новое сознание опирается и на древний текст, и на современную науку. Оно не видит ничего дурного в том, что наука привычными для нее методами анализирует даже самый этот текст, самое это предание. Так же, как мы не видим никакого оскорбления для духовной жизни человека в медицинском подходе к нему как к биологическому организму, как мы не видим отрицания любви в познании половой функции и всего, что служит ее субстратом, как не усматриваем вообще никакого противоречия между инструментально-аналитическим подходом к явлениям жизни и пониманием высокого смысла, каким могут быть наделены эти явления. Смысл мира, согласно известному изречению, должен лежать вне этого мира. Новое религиозное сознание, которое мы, может быть, сами того не замечая, уже вырабатываем в себе, не отрицает смысла мира во имя самого мира и не отвергает мир во имя вечного смысла. Когда-нибудь наши привычные антиномии будут казаться смешными. Дело идет о слиянии двух океанов, которые в силу исторического недоразумения показались разделенными, — естественнонаучного мировоззрения, основанного на рационализме, и религии, возникшей из откровения. Новое сознание возвращает нас и ко многому из того, что было заложено в иудео-христианском предании, но впоследствии забылось или было оттеснено в тень; к пониманию того, что религия, как и наука, не есть набор готовых истин, но скорее призыв к постижению истины, что никому не дано лицезреть Бога, но каждому открыт путь к Нему — подобно тому, как икона не есть портрет божества, а лишь некое художественное воплощение мысли о нем, — что истинная религия оставляет человеку свободу выбора и решения, что человек нуждается в Боге так же, как Бог по-своему нуждается в нем. И ко многому другому, че-

го я не могу сейчас выразить. Но рождение нового синтеза не мягкий процесс. Его внешнее соответствие — критическая и как будто даже безвыходная ситуация, в которой находится человечество. Всякое бывало, доставалось всем, и каждое поколение считало себя несчастнейшим на земле. Но наша эпоха создала нечто новое: концентрационные лагеря, перенаселение, атомную бомбу; эти три слова она произнесла впервые. Жизнь всегда была трагедией, но никогда еще люди не видели себя на краю обрыва, с которого в любую минуту они могут сорваться все без исключения. Кризис истории не может не быть и кризисом духа. Такова ситуация, в которой возникают новые отношения между человеком и Богом. Прощайте, мой друг, обнимаю Вас.

К СВЕДЕНИЮ УНИВЕРСИТЕТОВ, БИБЛИОТЕК И БИБЛИОФИЛОВ

В распоряжении редакции имеется несколько уникальных комплектов журнала "Время и мы" с 1-го по 67-й номер (1975-1982). Многие из ранних выпусков журнала отсутствуют в библиотеках и магазинах и, по оценкам специалистов, стали библиографической редкостью. В этот полный комплект входят лучшие произведения русской зарубежной литературы и самиздата, а также произведения выдающихся западных и израильских писателей.

В 67-и номерах журнала наиболее полно по сравнению с другими изданиями представлена эмигрантская и русская неподцензурная публицистика.

Цена комплекта 415 долларов, включая пересылку.

Заказы и чеки присылать по адресу редакции журнала "Время и мы".

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДИТ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "ВРЕМЯ И МЫ"

Александр Орлов
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...
...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...
...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...
...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...
...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...
...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...
...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...
...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...
...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской.инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги — 15 долларов. Пересылка — 1 доллар.

Предварительные заказы и чеки высылать по адресу;

475 Fifth ave, room 511—A
New York, New York 10017

МАКСИМ ШОСТАКОВИЧ О СВОЕМ ОТЦЕ

Интервью Александра Абрамова

Любовь к музыке Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — это единственная великая (я должен выразиться именно так) любовь, которая прошла через всю мою сознательную жизнь — с четырнадцати лет и до сегодняшнего дня. Его творчеству, исследованию его произведений, стремлению привить окружающим интерес и любовь к Шостаковичу отдавалось очень много душевной энергии. С шестнадцати до двадцати одного года все мои духовные интересы были сфокусированы главным образом на нем. Для меня была важна любая мелочь, любая деталь, связанная с его жизнью. Выход каждой книги, брошюры или журнальной статьи о Дм.Шостаковиче воспринимался мной как праздник. Я болезненно переживал, когда кто-нибудь говорил о нем что-то плохое и радовался, если слышал хорошее. Премьеры Четырнадцатой и Пятнадцатой симфоний, Тринадцатого квартета вошли в число самых счастливых событий-эпизодов моей жизни.

Я разговаривал с Шостаковичем один раз в жизни в течение тридцати пяти минут в 1967 году в московском отделении

Союза композиторов. (Содержание этого разговора в сокращенном виде изложено в статье "Разговор с Шостаковичем" в "Новом русском слове" от 20 июня 1982 года).

Мои первые опубликованные в советской печати сочинения — о музыке Шостаковича. Моя первая идеологическая неприятность случилась в связи с рецензией на Второй виолончельный концерт Шостаковича (1968) ...

...Все это отчасти объясняет то волнение, может быть, даже чувство страха, которое я испытывал, идя на встречу с Максимом Шостаковичем. Я был бы расстроен, если бы она прошла неудачно.

Мы встретились в артистической "Эвери Фишер-холл" на генеральной репетиции Восьмой симфонии Шостаковича. Когда-то мне сказали, что Максим Шостакович — сын великого композитора — довольно высокомерен. Какой-то будет наша встреча? Теперь я могу сказать, что действительность — простите за банальность — превзошла самые лучшие ожидания.

Прежде всего оказалось, что Максим читал две мои небольшие статьи в "Новом русском слове" — кроме упомянутого выше "Разговора с Шостаковичем", еще и "Реквием для струнного квартета" (в июне 1982 г.).

— Вы что, записывали разговор с отцом на магнитофон? — спросил Максим.

— Нет, он даже и в тетрадке не был записан.

— Как же вам удалось так точно передать не только мнение отца о конкретных композиторах, но саму его интонацию?! Спустя столько лет! На меня повеяло живым человеком. Обе ваши статьи — маленькие камешки, но драгоценные.

На протяжении трех часов в артистической происходило, собственно, не столько интервьюирование, сколько дружеская беседа двух людей, любящих Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Не все из этой беседы может быть в настоящее время опубликовано. Это лишь "надводная часть айсберга".

Итак...

Абрамов. Максим, вот вы завтра исполняете Восьмую симфонию. Я всегда считал ее лучшим, самым глубоким

и совершенным произведением Дмитрия Дмитриевича. Я знаю, что он никогда не отвечал, во всяком случае посторонним, на вопрос, есть ли у него одно или два, или три самых любимых собственных сочинения. Он говорил, что любит все. Но Дмитрий Дмитриевич все же не мог не понимать, что не все они равноценны. Может быть, в домашнем кругу он как-то высказывался по этому поводу?

Шостакович. Не знаю, но вот когда умерла моя мама (1954 г. — А.А.), гроб был еще в квартире, то, по желанию отца, время от времени звучала именно Восьмая симфония. Она была записана на магнитофонную ленту. Правда, тогда еще не были написаны Четырнадцатая и Пятнадцатая. Вообще, отец с какой-то особенной теплотой относился к своим "несчастным" произведениям, к тем, которые особенно ругали, долго не исполняли, например к "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерине Измайловой", — А.А.).

Абрамов. Тогда он должен был очень любить свою первую оперу.

Шостакович. О да! "Нос" отец очень, очень любил!

Абрамов. В свое время в советской прессе много писали, что Дмитрий Дмитриевич сочиняет оперу "Тихий Дон" — это правда?

Шостакович. Нет, он говорил об этом, чтобы от него на время отвязались. К нему иногда приходили и просили: "Дмитрий Дмитриевич, скоро, как вы знаете, юбилей. Надо бы отразить эту тему. Может быть, вы напишете?" — "Да, да, конечно", — отвечал отец. Через месяц, встретив того же человека, Дмитрий Дмитриевич говорил: "Я уже первую часть сделал". Но на самом деле он и не думал ничего этого писать. Ну... и... постепенно все это затухало.

Абрамов. Когда-то Дмитрий Дмитриевич сообщил, что будто бы создает какое-то, большое произведение о Карле Марксе, а после "запуска" Гагарина — 14-ю, "Космическую симфонию".

Шостакович. Да, было такое.

Абрамов. Кстати, почему Дмитрий Дмитриевич после "Леди Макбет Мценского уезда", после 1932 года ни одной оперы больше не написал?

Шостакович. Трудно сказать. Хотел он оперу "Черный монах" написать, по Чехову. Было у него такое желание давно, да вот так и не написал.

Абрамов. "Скрипку Ротшильда" по Чехову можно считать оперой Шостаковича, не правда ли? Ведь вроде бы от Флейшмана* остались только некоторые наброски, и опера почти нацело написана Дмитрием Дмитриевичем?

Шостакович. Теперь очень трудно установить, сколько успел сочинить сам Флейшман. Но во всяком случае отец никогда не говорил о "Скрипке Ротшильда" как о своей опере. Между прочим, она сейчас выходит в полном собрании сочинений Шостаковича.

Абрамов. В СССР или здесь?

Шостакович. Нет, в СССР.

Абрамов. Ну а с "Игроками"? Почему он бросил сочинять эту оперу? Потому, что счел, что чисто речитативная опера неполноценна?

Шостакович. Нет, не потому. У него был такой замысел: он шел прямо по тексту Гоголя. Но кончив первый эпизод, увидел, что если и дальше продолжать идти прямо по тексту пьесы, то опера выйдет бесконечно длинной. Ну и оставил.

Абрамов. Все знают, что молодой Шостакович находился под очень сильным впечатлением от "Воцека" Альбана Берга. Сохранил ли он эту любовь до конца?

Шостакович. О да! "Воцека" отец всегда очень любил.

Абрамов. Тут я разделяю мнение советского критика Сабининой, что в "Леди Макбет..." Шостакович с Бергом в каком-то смысле полемизирует. "Воцек" почти целиком речитативная опера, почти нет тематически-рельефного мелодизма, что делает ее несколько однообразной. Оркестр играет более важную роль, чем голоса певцов, а это я считаю ненормальным для оперного жанра. Мне кажется, "Леди Макбет..." пока самой сильной оперой вообще. Да, кстати, но вот

---

* Флейшман — ученик Шостаковича, погибший во время войны.

поздний Шостакович стал применять элементы додекафонии...

Ш о с т а к о в и ч . Да, отдельные элементы. К последовательным додекафонистам, к Шенбергу, к Веберну и их ортодоксальным последователям он относился... ну, как вам это объяснить... Вроде как если бы человек, чтобы бежать, кандалы снял и... привязал к ногам пушечные ядра.

А б р а м о в . А что Дмитрий Дмитриевич думал об авангардистской музыке?

Ш о с т а к о в и ч . Об электронной музыке отец говорил, что она более всего пригодна для оформления кинофильмов, спектаклей и т.п.

А б р а м о в. То есть хороша для прикладных целей, подобно абстрактной живописи и поп-арту.

Ш о с т а к о в и ч . Вообще, если отец видел, что человек искренне пытается при помощи совсем новых средств создать подлинное произведение искусства, он это ценил. Например, к "Молотку без мастера" Булеза он относился хорошо.

А б р а м о в . Максим, а что думал Шостакович о советских композиторах постшостаковичевского поколения? Например, о Родионе Щедрине? Он считал его талантливым?

Ш о с т а к о в и ч . Когда Щедрин написал "Кармен-сюиту", она многим не понравилась. Дмитрий Дмитриевич сказал, что автор "Кармен-сюиты" очень талантливый композитор, надо его поддержать. Он ценил также Галину Устьвольскую, свою ученицу.

А б р а м о в . Но, наверно, больше всего из молодых Дмитрий Дмитриевич любил Тищенко?

Ш о с т а к о в и ч . Не забудьте, что Тищенко был большим другом нашей семьи. Именно другом, а не просто гостем, который обедал.

А б р а м о в . Как, на ваш взгляд, ну вот Тищенко, Щедрин, Шнитке — вообще наиболее талантливые композиторы поколения после Стравинского и после Шостаковича — пишут не хуже современных западных композиторов? Хуже или лучше?

Ш о с т а к о в и ч . Уж во всяком случае не хуже.

А б р а м о в . У меня еще вопрос: каково отношение Дмитрия Дмитриевича к Кобалевскому — ценил ли он е г о, считал крупным композитором?

Ш о с т а к о в и ч . Ну какой он композитор?!

А б р а м о в . Ни четыре симфонии, ни "Реквием" совсем ему не нравились?

Ш о с т а к о в и ч . Нет, конечно.

А б р а м о в . А как "поздний" Шостакович относился к своим Второй, посвященной Октябрю, и Третьей "Первомайской" симфониям? Они же, как у Маяковского, — новаторские по форме и революционно-ура-патриотические по содержанию.

Ш о с т а к о в и ч . В ы же сами писали в своем "Разговоре с Шостаковичем", что он всегда повторял: "Дитя хоть криво, отцу с матерью мило". Вообще Дмитрий Дмитриевич никогда ничего не переделывал в уже законченных сочинениях. Он этого не любил. Его просили в 1961 году для проформы, чтобы не придирались, изменить хоть что-нибудь в Четвертой симфонии — самую малость и обозначить "2-й редакцией" — что де он учел критику,* но он не стал этого делать.

А б р а м о в. Он сказал: "Пусть о н и это скушают". Это была его маленькая месть. Максим, а вы согласны, что Восьмая — это самая сильная симфония Дмитрия Дмитриевича? И еще Четырнадцатая.

Ш о с т а к о в и ч . Пожалуй, согласен. Но Четвертая тоже совершенно грандиозная вещь, поразительная.

А б р а м о в . Мне кажется, что Четвертая в целом выше большинства других его симфоний. После 36-го года Шостакович стал писать не в полную силу — вплоть до 69-го года. По-моему, после снятия с репетиции Четвертой симфонии он вынужден был наступать себе на горло.

Четвертая симфония в некотором роде уникальна; в ней (чего позже не будет) как бы синтезирован метод Шостако-

---

* В 1936 г., после появления статей "Сумбур вместо музыки" (о "Леди Макбет...") и "Балетная фальшь", находясь на грани ареста, Шостакович снял с генеральной репетиции Четвертую, сугубо трагическую симфонию, которая могла явиться "последней каплей". Впервые она была исполнена ровно четверть века спустя.

вича и метод Прокофьева. Симфонизм Шостаковича обобщающе-философичный, Дмитрий Дмитриевич стремится отразить сущность явлений, тогда как симфонизм Прокофьева — эмпиричный, отображающий жизнь на уровне не сущности, а более внешних проявлений: многокрасочность, многоцветность бытия, острота непосредственного восприятия без какой-либо "космической" масштабности. Это — одна из причин, почему я Шостаковича ставлю выше Прокофьева. Кстати, верно ли, что позднее Дмитрий Дмитриевич стал отрицательно относиться к музыке Прокофьева?

Шостакович. Понимаете, отец был часто человеком настроения. За завтраком он, скажем, говорил о Прокофьеве: "Нет, мне не нравится теперь "Война и мир". А за обедом: "Предсмертный бред Андрея Болконского — "пити-пити" — какая все-таки потрясающая вещь!" Так менялось его отношение и к Бетховену. Вспомните, как в старости изменил свое отношение к Бетховену и Стравинский.

Абрамов. Скажите, правда ли, что Дмитрию Дмитриевичу не нравились фильмы Козинцева "Гамлет" и "Король Лир"?

Шостакович. Как раз наоборот — нравились. В молодости отец сочинял музыку к кинофильмам для денег. В 60-е годы у него уже, сами понимаете, не было такой необходимости, а музыку к шекспировским фильмам Козинцева он взялся писать.

Абрамов. Как вы думаете, зачем Дмитрий Дмитриевич стал участником конкурса "Лучший марш советской милиции"? Он ведь получил первую премию.

Шостакович. А этот марш милиции вы когда-нибудь слышали?

Абрамов. Да, один раз и плохо помню.

Шостакович. Это же гротеск, пародия, издевательство. Вспомните, как там тромбоны играют. Вот говорят, зачем Шостакович написал "1905 год" и "1917 год". А я с удовольствием их исполняю. Это, понимаете, так сказать, фактография. Образ революции, как Шостакович ее воспринял.

Абрамов. Верно ли, что политические взгляды Дмитрия

Дмитриевича были близки взглядам Роя Медведева, что он верил в "очищенный" ленинизм?

Шостакович. Думаю, что нет. К Ленину отец относился резко отрицательно. И, насколько я знаю, Ленина он раскусил очень рано, поняв, что именно от него вся эта зараза пошла.

Абрамов. Ну а к Хрущеву?

Шостакович. Вначале Дмитрий Дмитриевич к Хрущеву очень хорошо относился, как он говорил, "за то, что людей выпустил".

Абрамов. Читал ли Шостакович "Архипелаг ГУЛАГ"?

Шостакович. Более того, он считал, что эта книга своего рода взрыв атомной бомбы в интеллектуально-политической сфере, что Солженицын выполнил величайшую и благороднейшую миссию.

Абрамов. Теперь несколько деликатный вопрос. Зачем Дмитрий Дмитриевич подписал письмо против Сахарова?

Шостакович. Было так: пришли к нему и клянчили, душу выматывали, протягивали бумагу. Тут невозможно вразумительно объяснить... Просто никогда он не умел отказывать людям. Так получилось и со вступлением в партию в 60-е годы: приходили к нему и клянчили, конючили: "Надо, Дмитрий Дмитриевич, надо, вам необходимо вступить в Коммунистическую партию..."

Абрамов. Но все-таки имя Шостаковича слишком значимо, и он должен был это понимать. Когда я увидел газету с его подписью против Андрея Дмитриевича, меня это очень расстроило. Я написал Дмитрию Дмитриевичу длинное лирическое письмо, увещевал так сказать, что за отказ подписать это письмо ему не грозил ни костер, ни арест и сын Максим не остался бы без пропитания. Письмо было передано Ирине Антоновне* на премьере Четырнадцатого квартета. Дмитрий Дмитриевич находился в это время в больнице. Может быть, он сам или Ирина Антоновна что-то говорили вам об этом письме?

---

* Третья жена Д.Д. Шостаковича.

Ш о с т а к о в и ч . Нет, я про это ничего не знаю. Отец вообще всегда был против "обобществления" чужих писем, против, скажем, опубликования частной переписки.

А б р а м о в. Мы затронули мировоззрение Дмитрия Дмитриевича. Скажите, слушал ли он "голоса", западные радиостанции?

Ш о с т а к о в и ч . Постоянно, почти каждый день.

А б р а м о в. По прочтении книги Соломона Волкова у меня создалось впечатление, что Дмитрий Дмитриевич не очень хорошо относился к Западу, к западному образу жизни.

Ш о с т а к о в и ч . Это не совсем так. Тут все очень сложно. Отец был за демократию в полном смысле слова. И он всегда болезненно переживал, что в мире есть разделение на очень богатых и очень бедных. Нет, он не был против Запада... Но когда мы с ним бывали в Англии, мы останавливались у одной очень богатой дамы, фамилии не называю, все-таки мы были ее гостями — обидится. Так вот, ей принадлежит огромное поместье вдоль океана несколько километров — и все пусто, никто больше не живет. Иногда она пускала на свое побережье группы хиппи: "для пейзажа" и чтобы не так скучно было, — сидят, играют на гитарах, пьют пиво. Дмитрия Дмитриевича эти "несколько километров" раздражали. Понимаете, Саша, отец был действительно гуманистом в самом точном смысле этого слова и ему это неравенство не могло нравиться.

А б р а м о в . Я хотел бы затронуть в нашей беседе бестселлер Соломона Волкова. Ведь мы же знаем, что его книга переведена на двенадцать языков и пользуется огромной популярностью на Западе. Что вы можете сказать о ее достоверности? Действительно ли Дмитрий Дмитриевич был таким, каким он предстает в книге Волкова?

Ш о с т а к о в и ч . Да, он встречался с отцом несколько раз, и разговоры их получили отражение в книге. Политическая тенденция, политические взгляды отца выражены правильно. Но в дополнение к этому в книгу вошли разные слухи, свидетельства, идущие не от отца. Я знаю, от к о г о что идет, но я не буду сейчас об этом говорить. Вот в ваших статьях о

Шостаковиче видно, где вы, а где отец, а в книге Волкова трудно различить, где Шостакович, а где Волков.

А б р а м о в . Вы знаете, Волков недавно написал блестящую статью "Достоевский и Шостакович". За пять лет пребывания в Америке я читал в газетах еще только одну статью столь же высокого уровня, к сожалению, я не помню ее автора. Это была статья об Алле Пугачевой в связи с ее исполнением "Арлекино". После "Достоевского и Шостаковича" я пришел к выводу, что Волков действительно глубоко понимает и любит музыку Дмитрия Дмитриевича. И я бы очень хотел, чтобы вы с ним... помирились.

Ш о с т а к о в и ч . А мы с ним и не ссорились.

А б р а м о в . Теперь немного о другом. В Союзе я ни во что не верил, в том смысле, что меня неоднократно пытались увлечь религией, йогой, говорили про перевоплощение души и т.д. А я раздражался или просто смеялся надо всем этим. Здесь, в Америке, так получилось, что три года я очень серьезно занимался парапсихологией и оккультизмом и понял, что за всем этим стоит не только что-то серьезное, но и что многое из того, что пишут теософы, — правда. Я теперь верю в загробную жизнь...

Ш о с т а к о в и ч . И я, между прочим, тоже.

А б р а м о в . Но Дмитрий Дмитриевич ни во что это не верил.

Ш о с т а к о в и ч . Да, он относился к этому скептически. Он был абсолютным атеистом, не верил ни в Бога, ни в загробную жизнь.

А б р а м о в . Йоги утверждают, что душа в эфирном двойнике (ученые-парапсихологи назвали это "биоплазмическим удвоением") или в астральном теле очень часто присутствует на собственных похоронах, то есть на захоронении своего физического тела, парит на некоторой высоте и все видит. Дмитрий Дмитриевич так боялся смерти! Вот, наверное, он обрадовался, осознав, что н е умер в самом деле. Кстати, именно поэтому я ставлю Восьмую симфонию выше Четырнадцатой, хотя в музыкальном отношении Четырнадцатая не уступает Восьмой. Но основная идея Четырнадцатой симфонии — все-

властие смерти — ложна, потому что личность еще долго живет после клинической смерти. Но вернемся к характеру и вкусам Дмитрия Дмитриевича. Правда ли, что он не любил, когда ему дарили цветы? Ирина Антоновна говорила мне, что Дмитрий Дмитриевич считал, что букет цветов хорош только на могиле.

Шостакович. Он любил живые, растущие цветы и не любил срезанных.

Абрамов. А теперь несколько из другой "оперы". Кого из живописцев Дмитрий Дмитриевич особенно ценил?

Шостакович. Затрудняюсь точно ответить. У него в комнате висела репродукция с картины Тициана "Динарий Кесаря" — он всегда ею восхищался. Очень любил Дмитрий Дмитриевич "Капричос" Гойи.

Абрамов. Ну а кино? Скажите, Максим, как относился Дмитрий Дмитриевич к Тарковскому? Я спрашиваю об этом, потому что Тарковский, с моей точки зрения, самый талантливый из нынешних советских режиссеров.

Шостакович. Он очень хорошо относился к творчеству Тарковского. Видел "Иваново детство", "Рублева", "Солярис". Смотрел ли Дмитрий Дмитриевич "Зеркало", не знаю.

Абрамов. Я читал где-то, что в молодости Дмитрий Дмитриевич окончил школу футбольных судей.

Шостакович. Это правда. И всю жизнь гордился, что был футбольным судьей какой-то там категории.

Абрамов. Ну а сам Дмитрий Дмитриевич занимался спортом? На лыжах ходил? В футбол играл?

Шостакович. Нет, сам он спортом не занимался. На лыжах никогда не катался. А в футбол играл только со мной, когда я был маленький. Но за соревнованиями всегда следил, составлял таблицы. Шахматы очень любил. К Фишеру относился с симпатией.

Абрамов. Да, чтобы не забыть. Вы знаете, что в "Новой газете" был опубликован полный текст вашего разговора с коллегами из оркестра, когда вы остались на Западе?

Шостакович. Мне говорили об этом. Но я, вообще говоря, не сторонник таких вещей. Я тут разделяю точку зрения отца — частный, интимный разговор...

Абрамов. Каким образом этот разговор стал известен?

Шостакович. Какой-то полицейский в участке записал его на магнитофон.

Абрамов. Был ли хоть малейший шанс, что они вас уговорят вернуться?

Шостакович. Нет, конечно.

Абрамов. Вы же понимали, что было бы, если бы вы вернулись в Союз.

Шостакович. Еще бы!

Абрамов. Когда у вас впервые появилась мысль об эмиграции?

Шостакович. Когда мне было десять лет. В 1948 году, когда после речи Жданова травили отца, в музыкальной школе, на экзамене меня заставляли его ругать. Тогда-то я и сказал себе: "Я не буду жить в этой стране".

Абрамов. Знаете, мне из-за Дмитрия Дмитриевича в юности тоже много нервов потрепали. В Воронеже было три музыкальных учреждения: музучилище, филармония и оперный театр. И только человек пятнадцать интересовались творчеством Шостаковича и любили его. Остальные считали, что это — какофония. Тогда-то я и понял основные закономерности функционирования толпы, человеческого стада, из которого опасно хоть как-то выделиться.

Шостакович. Да, и мы часто сидя в зале вдруг слышали: "Безобразие! Почему этого не запрещают?!"

Абрамов. Одно время главным дирижером воронежской филармонии назначили Юрия Ильича Николаевского...

Шостакович. Я знаю его.

Абрамов. До него филармонический репертуар был мал и однообразен: Первый фортепианный концерт Чайковского, его же Четвертая симфония ... Николаевский расширил репертуар, оркестрантам пришлось разучивать новые, незнакомые вещи, по-настоящему работать. Они, естественно, Николаевского невзлюбили. А кроме того, по приглашению Юрия Ильича стали приезжать такие люди, как Тищенко, Щедрин, Шнитке. После первых репетиций скрипичного концерта Шнитке оркестранты пошли в Отдел культуры и "нас-

тучали" — безо всякого КГБ. КГБ в данном случае не при чем. Музыка была современная, новаторская. А то мы все валим на КГБ, да на правительство, а вот она, инициатива снизу. Концерт Шнитке был отменен. Преподаватели теоретического отделения, чтобы как-то его утешить, устроили небольшую вечеринку со студентами-теоретиками. Именно тогда я и познакомился со Шнитке и благодаря ему впоследствии смог встретиться с Дмитрием Дмитриевичем.

Шостакович. Кстати, о каком годе вы говорите? О 66-ом? Отец был уже в зените славы. Тем не менее, даже теперь, почти через двадцать лет после ждановской речи, у него были неприятности с Тринадцатой симфонией в связи с "Бабьим Яром". Евтушенко заставили изменить первую строфу, где он говорит, что он иудей, бредущий в пустыне Древнего Египта. Вместо иудея появились русские и украинцы, лежавшие с евреями в одной земле. Отец, разумеется, все это переживал. Лишь спустя несколько лет Тринадцатая симфония стала исполняться в первоначальной редакции.

Я прощаюсь с Максимом и в заключение беседы получаю в подарок два последних билета в директорскую ложу и приглашение в гости, в Коннектикут.

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ РУССКОЙ КНИГИ:

Феликс Розинер

НЕКТО ФИНКЕЛЬМАЙЕР
Роман

Парижская литературная премия им. Вл. Даля
за 1980 год

В России писатель Феликс Розинер / р. 1936/ публиковал беллетризованные биографии музыкантов и художников /Григ, Прокофьев, Чурленис/, но его художественные произведения — проза, поэзия, пьесы — оставались неизданными и стали широко публиковаться после отъезда писателя в Израиль/1978/.

"Это прежде всего роман о творчестве, о творческой личности, о художнике, устами которого говорит нечто высшее и более властное, чем является он сам — бренный человек, ветхий адам. Конфликт художника и действительности — это вечный трагический конфликт и это вечная, может быть, самая болезненная тема мирового искусства. Разумеется, гримасы любой социальной реальности накладывают свою печать на жизнь художника. Но эта трагедия носит всеобщий характер, и об этом еще долго будут писать, прежде чем люди перестанут "пожирать неразумных детей своих"— своих гениев, своих художников и поэтов, не умеющих приспособиться к этому прагматическому миру."

Феликс Розинер

Издательство "Overseas Publications Interchange, London
В книге 600 стр.
Цена: в мягкой обложке — 6 фунтов стерлингов
в твердом переплете — 7.50

"Холодом веет от Кремля" — озаглавил свою книгу Зденек Млинарж — один из выдающихся деятелей "Пражской весны". В связи с ее наступающим пятнадцатилетием редакция решила опубликовать из этой книги отрывок "Перед московским трибуналом". Ему предпослано интервью Ларисы Силницкой со Зденеком Млинаржем. Отрывок из книги Млинаржа печатается с любезного разрешения журнала "Проблемы Восточной Европы" (№ 1, 1981).

ХОЛОДОМ ВЕЕТ ОТ КРЕМЛЯ

ПОЛИТИКА И МОРАЛЬ ПРАЖСКОЙ ВЕСНЫ

Интервью Ларисы Силницкой со Зденеком Млинаржем

С и л н и ц к а я . Прежде всего я хотела бы выяснить некоторые вопросы, возникшие у меня при чтении вашей книги "Попытка реформы 1968 года". В ней вы пишете, что в 68-ом году не были в достаточной степени оценены международные взаимосвязи. Это сразу же вызывает у меня несколько вопросов. Во-первых, правильно ли я поняла, что под международными взаимосвязями вы понимаете отношение к чехословацким событиям со стороны Советского Союза. Во-вторых, являются ли эти взаимосвязи чем-то постоянным или они могут меняться? И, наконец, в-третьих, если они включают отношение к Чехословакии Советского Союза, то как могли в Чехословакии верно оценить советскую позицию, если там не существует даже такой отрасли науки, как советология?

М л и н а р ж . В Чехословакии господствовал миф, что советская политика определяется заявлениями, сделанными после XX съезда. Мы и в 1968 году считали, что само советское руководство заинтересовано в реформах, хотя в послехрущевский период в Советском Союзе все было совершенно наоборот. Кроме

того, мы считали, что если Чехословакия в своей внешней политике будет строго придерживаться советской линии, а не заниматься поисками других союзников — ни на Западе, ни на Востоке, — то это облегчит нам осуществление реформ. В результате наши потенциальные союзники фактически ими не стали — мы сами изолировали себя от них. Приведу такой пример. Чаушеску удалось завоевать более широкое поле для самостоятельной политики Румынии. С одной стороны, благодаря его связям с Китаем, а с другой — благодаря тому, что в некоторых кризисных ситуациях он занял независимую позицию к СССР. Так было, например, во время ближневосточного конфликта 1967 года. Чаушеску действует независимо и по отношению к некоторым западным странам, и к коммунистическим партиям западных стран. Мы же вообще не учитывали возможности использования связей, например, с Китаем, Югославией, с расчлененным уже тогда европейским коммунистическим движением. Не учитывались возможности инициативной политики по отношению к странам Западной Европы. Отсюда и неизбежная изоляция Чехословакии.

В поисках решения чехословацкой ситуации наше руководство совершенно не задумывалось над тем, как скажутся реформы на соседних с нами государствах, как будут реагировать на них польские, восточногерманские и, конечно, советские руководители. Все эти вопросы мы отодвигали на задний план, они не были глубоко продуманы. То есть мы совершенно не предвидели возможности международного конфликта, а потому и не разработали концепции его урегулирования.

С и л н и ц к а я . Я помню, как еще в конце 67-го года, то есть до январского пленума, на котором Дубчек стал первым секретарем, к нам в Институт хозяйственного планирования при Госплане ЧССР приехала сотрудница Института социалистической системы Академии Наук СССР. Она работала в отделе, который занимался изучением противоречий между компартиями социалистических стран. Может быть, назывался он иначе, но занимался именно этим. Было ясно, что в Советском Союзе очень внимательно следят за тем, что происходит в странах Восточной Европы. А когда в апреле 68-го года я была в Москве и встретила своего бывшего сотрудника по журналу "Проблемы мира и

социализма", то он мне просто сказал, что у него есть досье на Чехословакию и Польшу. Проводилось ли в Чехословакии — пусть только для внутренней информации — объективное исследование Советского Союза и его политики, и возможно ли вообще такое изучение?

М л и н а р ж . Я думаю, что официально осуществить это в странах Восточной Европы совершенно невозможно. Это можно сделать в Москве. Но мне трудно представить, чтобы в Чехословакии, например, можно было создать отдел по изучению конфликтов с Советским Союзом. Создание такого отдела уже выглядело бы крамолой.

С и л н и ц к а я . Так что здесь нельзя даже сослаться на пример Советского Союза?

М л и н а р ж . Теоретически возможно, но мне трудно назвать организацию, которая взяла бы на себя такую инициативу. Подобное решение должно было бы быть санкционировано партийным руководством, а партийное руководство стран Восточной Европы вряд ли пошло бы на это.

С и л н и ц к а я . Когда разрабатывались документы 68-го года, например проект Программы действий КПЧ или Устава КПЧ, были ли привлечены к этой работе специалисты по Советскому Союзу?

М л и н а р ж . Тогда мы все считали себя специалистами по Советскому Союзу. Мы предполагали, что сами можем предвидеть реакцию Советского Союза, так что специалисты, которые занимались международными проблемами, к составлению этих документов привлечены не были. Но следует отметить, что проект Программы действий КПЧ базировался на концепции, согласно которой мы старались не вызывать беспокойства Советского Союза, не отходить от его международной политики. Да и вообще Программа действий разрабатывалась наскоро и хаотически. Готовившие ее сотрудники Академии Наук и ЦК еще в декабре 67-го года вообще не предполагали, что некоторые идеи могут быть включены в политический документ. В основном этой работой занимались теоретики и идеологи, и это сильно сказалось на Программе.

С и л н и ц к а я . В связи с событиями в Польше, еще до введения там военного положения, в западной печати часто раздавался вопрос: "Как долго Советский Союз сможет терпимо

относиться к -польским событиям?" Уже сама формулировка как бы предоставляет Советскому Союзу право к чему-то относиться нетерпимо, чего-то не допустить. Но вопрос этот заслуживает внимания. Где та черта, за которую, с точки зрения Советского Союза, страны Восточной Европы перейти не могут? Является ли эта грань определенной раз и навсегда, или она может оказаться подвижной — в зависимости от внутренних или внешних обстоятельств?

М л и н а р ж . Я думаю, что эта грань подвижна. Об этом свидетельствуют и исторические примеры. Были случаи, когда Советскому Союзу не нравилось развитие внутренних событий в какой-то стране, но это все же не завершилось военным вмешательством, а та или иная страна просто отошла от советского блока. Можно назвать Югославию, Албанию, Китай...

С и л н и ц к а я . Китай — это совершенно особый случай, это огромная страна...

М л и н а р ж . Разумеется. Но из этого вытекает принцип, что советское вмешательство зависит от определенных факторов, размеры и мощь страны — один из таких факторов. Если мы говорим о странах Центральной и Восточной Европы — практически о Венгрии, Польше, Чехословакии и ГДР (так как положение Румынии тоже несколько иное), то и здесь предел терпимости может оказаться подвижным. Но возможности стран Центральной Европы в настоящее время очень невелики. Напряженность между двумя блоками обостряется, и в этих условиях Советский Союз не позволит ничего, что могло бы поставить под угрозу его безоговорочное господство в этих странах. При этом я вовсе не утверждаю, что нынешнее положение неизменно. Перемены могут произойти в связи с изменениями в глобальной обстановке, если, например, изменится политика СССР по отношению к Западной Европе. В новых обстоятельствах может измениться и положение Восточноевропейских стран.

С и л н и ц к а я . Я напомню сейчас несколько отрывков из вашего очерка о писателе Людвике Вацулике в связи с пятидесятилетием со дня его рождения. В этом очерке вы пишете:

"По одну сторону стола в ЦК сидели партийные работники, а по другую сидел Вацулик. Он почти ничего не говорил, но по нескольким произнесенным им словам я понял, что Вацулик вообще не понимает, чего партия от него хочет. Вацулик не по-

нимал всех этих хитроумных политических расчетов и упорно повторял одно и то же. А то, что он говорил, ни в какие политические рамки не укладывалось, да он и не думал об этом.

Но кому же нужен такой чудак на политической ярмарке, где у каждого своя функция, цель и предусмотренное заранее поведение? Что с ним делать? Будет трудно — подумали партийные товарищи. И были правы."

Далее вы пишете, что постепенно начали понимать это кристальное чистое отношение художника к окружающему миру. И говорите, что с таким отношением в политике далеко не уйти. Но позже, в период так называемой нормализации Вацулик уже не представлял редколлегии "Литературной газеты", а вы не представляли ЦК. И вы начинаете сами разыскивать писателя, стараетесь встретиться с ним. Именно потому, что у Вацулика в избытке те качества, которые в прошлом были источником конфликтов между писателями и политиками, когда вы сидели по одну сторону стола, а Вацулик по другую.

В книге "Холодом веет от Кремля" вы снова возвращаетесь к теме политического расчета и морального подхода, когда говорите о Франтишеке Кригеле, единственном человеке из чехословацкого руководства, который не подписал продиктованный советскими властями постыдный договор. Вот что говорится в книге:

"Что они могут мне сделать? — сказал Кригель, отказываясь подписать протокол. — Сослать в Сибирь? Расстрелять? Я учел и такую возможность, но подписывать из-за этого не намерен". Политические мотивы компромисса он обсуждать отказывался. Он почти не слушал. Он даже не выглядел политиком. В тот момент это был человек, которому разбойники угрожают смертью, а в качестве выкупа требуют не денег, а честь, детей или жену. ...В те минуты Кригель повел себя прежде всего как человек, а не как политик. И как подтвердило будущее, его поведение гораздо точнее отвечало ситуации, чем наше: ведь нас действительно шантажировали гангстеры, но мы тешили себя иллюзиями, будто мы все еще политики, с которыми ведут переговоры политики другой страны".

Из сказанного можно сделать вывод, что моральная позиция "не-политиков" оказалась более правильной по отношению к

власти — своей или оккупационной, — чем позиция тех, кто считал себя политиками.

Однако позже, в разгар польских событий, еще до введения там военного положения, вы разработали блестящий анализ польской ситуации и снова как бы советовали, до какой грани может идти оппозиция и независимое профсоюзное объединение Солидарность. Чего же, по вашему мнению, следует придерживаться: посредством продуманного политического расчета добиться хоть каких-либо постепенных уступок или исходить из того, что с властями не о чем говорить вообще.

М л и н а р ж. Это очень сложный вопрос В жизни существуют политические структуры, какие-то возможности, своего рода сфера политического расчета, когда принимаются во внимание течения в партии, обществе, государственных институтах. Наряду с этим — просто человеческая жизнь. Обе эти реальности налицо. Государственные структуры должны были бы стать тем средством, при помощи которого обеспечивается приемлемая для человека жизнь. Это просто необходимо. Ведь в момент, когда эти структуры отрываются от нормальной человеческой жизни, люди неизбежно оказываются в конфликте с ними. Я хорошо отдаю себе отчет в противоречии: тот, кто рассматривает жизнь с точки зрения структур и реальной возможности изменить их, не может охватить все, чем живет нормальный человек. Его мир становится более узким, он начинает размышлять в категориях, которые не всегда человечны. Я неизменно относился с большим уважением к людям, которые в определенный момент заявляли политикам: не морочьте мне голову, в действительности дело обстоит так-то и так.

Вацулик как раз и является классическим примером человека, который включается в политику со своими собственными, человеческими критериями. С одной стороны, я не всегда и не во всем могу с ним согласиться. Я все еще пытаюсь добиться возможного, вести себя как политик, а он ведет себя, как слон на льду... Но когда выясняется, что мои действия не увенчались успехом, то правда оказывается на его стороне, так как именно он внес в политику мораль и ценности, которые я умышленно подавлял. Не потому, что я с этой моралью или ценностями не согласен, а потому, что считал, что в данной политической обстановке они нереальны. Когда я занимался политикой актив-

но, я всегда отдавал себе отчет в том, что моя позиция не отражает всех ценностей и чаяний людей. Разумеется, в момент поражения это становится очевидным, и тогда начинаешь задумываться, не лучше ли было сразу вести себя, как тот, кто считал все это суетой сует. Но, с другой стороны, это можно рассматривать и как разделение труда, как своего рода профессионализм. Повсюду можно увидеть такого рода противоречия. В политике они заметнее потому, что политические деятели часто оправдывают свои поступки именно человеческими ценностями, тогда как в действительности речь идет о другом. И если политик этого не понимает, он может отказаться от человеческих ценностей вообще... Я старался об этих ценностях не забывать. В то же время чисто моральный подход к политическим вопросам я считаю ограниченным, да и роль так называемых моралистов в политике ограничена; сугубо моральный подход всех проблем тоже решить не может.

С и л н и ц к а я . Но если в Чехословакии, сравнительно небольшой стране, политические деятели были связаны с людьми, встречались с деятелями литературы и искусства, испытывали на себе хоть в какой-то степени их влияние, то в Советском Союзе политики так далеки от всего этого, что чисто человеческие ценности вряд ли могут оказывать на них влияние, не правда ли?

М л и н а р ж . Я не думаю, что задача писателя, который говорит о человеческих ценностях, влиять на того или иного чиновника. Это влияние возникает тогда и только тогда, когда определенная проблема становится предметом политического давления, которое оказывает та или иная группа населения. И тогда либо с помощью печати, либо свободного слова вообще, эмоции или моральные принципы могут стать политической силой, которая оказывает давление на политических деятелей. Некоторая возможность оказывать давление на политиков существует, конечно, и в Советском Союзе. У политиков есть семьи, что-то доходит и до них, но переоценивать такое давление не имеет смысла. В то же время делать в этом контексте акцент на общечеловеческие ценности имеет большой смысл. Это будет всякий раз напоминать, что политическая деятельность советских руководителей ничего обшего с человеческими ценностями не имеет.

ПЕРЕД МОСКОВСКИМ ТРИБУНАЛОМ

Отрывок из книги З.Млинаржа "Холодом веет от Кремля"

Я вылетел в Москву через несколько дней после оккупации. Во-первых, находившийся в Москве Дубчек захотел, чтобы я принял участие в переговорах в Кремле, а, во-вторых, меня уполномочило присутствовать на этих переговорах политбюро ЦК КПЧ, избранное на съезде в Высочанах.[1]

В Москву я летел вместе с представителями старого партийного руководства — со Швесткой, Ленартом, Якешем, Барбиреком и Риго. Кольдер остался в Праге, в оккупированном советскими частями здании ЦК. Антонин Капек где-то скрывался; он тогда, кажется, уехал из Праги. Члены секретариата — Цисарж, Садовский, Славик, Эрбан и Воленик — в Москву приглашены не были, а остальные члены дубчековского руководства КПЧ уже находились в Кремле. Некоторые прибыли в Москву, сопровождая Людвика Свободу, а некоторые накануне переговоров просто получили новый статус — я имею в виду тех, кого силой, как пленных, увезли советские военные самолеты и кого позже держали под охраной гебешников в Карпатских горах в каких-то засекреченных объектах.

Летели мы в Москву на военном самолете; в нем, кроме нас, было несколько офицеров. Были там еще киноленты в ящиках — заснятые советскими операторами кадры первых оккупационных дней в Праге. Мы сидели молча, говорить было не о чем — каждый знал, как вели себя в первые дни оккупации остальные. И вот 25 августа 1968 года, в воскресенье, около девяти часов утра по московскому времени наш самолет приземлился на Внуковском аэродроме, неподалеку от Москвы. "Чайки" от-

везли нас на Ленинские горы — в правительственные особняки, которые расположены всего лишь в нескольких сотнях метров от московского университета.

После тринадцати лет перерыва я увидел панораму Москвы, которая в студенческие годы была фоном моей повседневной жизни. В Праге эта хорошо знакомая картина ассоциировалась с добрыми для меня студенческими временами. Теперь она снова стала явью. Но я отчетливо помнил, что всего лишь несколько часов полета отделяло меня от оккупированной Праги. Передо мной, в сиянии раннего солнца, лежала Москва, — такая же, как в прошлом; но эту панораму перекрывали картины пражских улиц, на которых со зловеще вытянутыми жерлами пушек стояли танки и солдаты-автоматчики.

На этот раз я был не в Москве своей молодости, а в столице державы-оккупанта. Вместо сокурсников, вокруг вертелись — почтительно, но в то же время настороженно, — сотрудники КГБ, кто в штатском, а кто в мундирах. Абсурдность этих минут проявляла абсурд моего прошлого. Меня охватило страстное желание вообще не быть. Но я жил, и более того, мне предстояло, вместе с другими, думать о том, что станется с нашей страной, какое еще абсурдное решение последует за прежними.

Я прибыл в Кремль. В одном из залов уже собрались сопровождавшие Свободу лица. Но кроме них, там были Черник — на этот раз как председатель правительства, Смрковский, Шпачек и Шимон. Отсутствовали Дубчек, Кригель и Йиндра. Я привез с собой из Праги всевозможные материалы — газеты, листовки, сообщения избранного в Высочанах партийного руководства — а для прежде арестованных руководителей у меня были и личные письма: некоторые от сотрудников, а некоторые от родных.

Были еще письма для Дубчека и Свободы от президиума съезда в Высочанах. С Дубчеком я хотел встретиться в первую очередь. Людвик Свобода сказал, что Дубчек лежит, принять участие в переговорах не может, но что меня к нему проведут. Дубчек находился в одной из комнат Кремля, предоставленных Свободе и сопровождавшим его лицам. Свобода провел меня через две смежные комнаты и открыл двери.

Дубчек лежал в постели под одеялом; было жарко и одеяло было несколько спущено. Дубчек был полуодет; он лежал неподвижно, по всей вероятности, под действием успокоительного. На лбу у Дубчека была небольшая, заклеенная пластырем ранка, выражение лица у него было отсутствующее, как у одурманенного наркотиками человека. Но когда я вошел, Дубчек очнулся, приоткрыл глаза и улыбнулся. В этот момент я вспомнил святого Себастьяна, который улыбался под пыткой. У Дубчека было такое же мученическое выражение лица, а лучами разбегавшиеся по подушке от его головы линии напоминали ореол. Я подошел и погладил его по лицу. Дубчек говорил прерывисто и бессвязно. Он сказал, что не в состоянии сейчас же прочитать письма и попросил положить их ему под подушку. Я удовлетворил его просьбу, но попытался объяснить кое-что устно. Дубчек был даже слушать не в силах. Я посидел несколько минут на его постели и вышел.

Дубчек находился в состоянии тяжелого нервного потрясения. Ранку на лбу он получил от удара об умывальник, когда поскользнулся в ванной. Пользовал его личный врач президента Свободы. После обеда состояние Дубчека несколько улучшилось, с ним встретились Черник и Смрковский. Мне же удалось переговорить с ним лишь на следующий день, незадолго перед тем, как мы приступили к официальной части переговоров — к подписанию так называемого московского протокола .

В коллективных переговорах и обсуждениях при подготовке текста этого протокола Дубчек участия не принимал.

В переговорах не участвовал и Франтишек Кригель. В те дни его вообще не было в Кремле. Позже стало известно, что советское руководство старалось не допустить Кригеля к переговорам; более того, советское руководство хотело воспрепятствовать возвращению Кригеля в Прагу. Но об этом речь впереди.

Отсутствовал во время переговоров и Алоиз Йиндра. Он был болен и лежал где-то вне Кремля, вероятно, в больнице. Ходили слухи, что у него был приступ синдрома Меньера — весьма характерная для того времени болезнь, симптом ее — потеря равновесия. У Йиндры, однако, независимо от болезни, были все основания чувствовать себя неуверенно; он действительно не знал, наверху ли он или внизу. Было лишь бесспорно, что с рабоче-крестьянским правительством[2] покончено.

Отсутствовали при обсуждении текста московского протокола еще два члена правительства — министры Дзюр и Кучера.

В переговорах принимало участие политбюро ЦК, а, — кроме членов политбюро, — Людвик Свобода и Густав Гусак. Как мы увидим, то, что происходило в Кремле, вообще трудно назвать переговорами. Вплоть до подписания протокола вечером 26 августа у политбюро ЦК КПЧ не было равного партнера. От советской стороны выступали отдельные лица, предлагавшие различные проекты текста как ультиматум. Причины такого поведения советской стороны совершенно ясны. Целью СССР было не обсуждение, а утверждение продиктованных условий капитуляции. Ведь еще опыт переговоров в Чиерне на Тиссе[3] показал, что даже длительные переговоры достижению поставленной советской стороной цели не способствуют.

У чехословацкой же стороны, — за исключением совещания ночью 25 августа, — единой точки зрения не было. Партийное руководство разделилось на тех, кто хотел сформировать "рабоче-крестьянское правительство", и тех, кого это правительство должно было посадить на скамьи подсудимых. Было ясно заранее, что группа, которая согласилась создать рабоче-крестьянское правительство, согласится на все, что внесет московское руководство в текст заключительного протокола. Поэтому в том, чтобы переговоры с Москвой все-таки состоялись, была заинтересована лишь вторая часть дубчековского руководства — Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и я — а также, конечно, Свобода и Гусак, которые в то время не были связаны ни с одной из групп.

Когда утром 25 августа я прибыл в Кремль, кое-что уже было согласовано. (Я не знаю подробностей, как проходили переговоры до моего приезда, кто принимал в них участие и кто какую позицию занимал. Так что когда я говорю о переговорах, то имею в виду совещания, состоявшиеся 25 и 26 августа). Решены были уже три важных вопроса. Первый из них был решен в пользу группы Дубчека: была отвергнута альтернатива формирования нового руководства, состав которого отличался бы от существовавшего до 20 августа 1968 года. В этом важнейшем пункте, иначе говоря, советская сторона смирилась с поражением. Однако другие два вопроса были решены в пользу Москвы: был аннулирован XIV съезд партии в Высочанах; кроме того, чехословацкие представители согласились, чтобы обсуждение ситуации в Чехословакии было снято с повестки дня Совета

безопасности ООН. Мне думается, что Смрковский, Шпачек и Шимон подключились к переговорам уже после того, как по этим двум вопросам решение было принято. В обсуждении их участвовали Людвик Свобода и сопровождавшие его лица, а также Дубчек и Черник.

Вернувшись из комнаты Дубчека, я информировал присутствующих о положении в Чехословакии, или, говоря точнее, я высказал свою точку зрения по поводу создавшегося в стране положения. Вот короткое содержание моего выступления: всенародное пассивное сопротивление ввергло оккупационную власть в кризис; она не в состоянии контролировать события — если, разумеется, не применит для подавления гражданского населения вооруженную силу. После съезда в Высочанах КПЧ пользуется большим авторитетом, парламент и правительство признали съезд в Высочанах и осудили оккупацию. Все это стабилизирует положение органов власти, которые оккупанты пытались, но не смогли разрушить. В то же время положение в стране неустойчиво, и это чревато опасностями. Достаточно нескольких маленьких провокаций и может произойти взрыв. Оккупационная власть начнет нервничать, и ни одной из сторон не удастся удержать создавшуюся ситуацию в желательных рамках. Все ждут, что окончательное решение будет принято здесь, в Кремле. Дубчек, Свобода, Черник и Смрковский пользуются огромным авторитетом. И если они будут едины при переговорах в Кремле, достигнутое в Москве соглашение будет принято преобладающим большинством населения Чехословакии. Однако неотъемлемой частью достигнутого компромисса должна быть гарантия ухода иностранных войск из Чехословакии, — по возможности, с указанием срока. Кроме того, соглашение должно гарантировать, что чехословацкая политика будет и в дальнейшем соответствовать Программе действий КПЧ. Далее я подробно рассказал, какую роль в эти дни сыграли радио и печать, а также об условиях, в которых радио и печать работают. Я роздал присутствующим наглядно документировавшие положение в стране изданные в Чехословакии газеты и листовки.

Присутствующие задавали много вопросов, обсуждались самые различные проблемы. Если я не ошибаюсь, больше всех из недавно прибывших в Москву говорили Швестка и Ленарт. Однако они подчеркивали не размах всенародного сопротивления,

а опасность, которая будет угрожать стране, если принятие решения затянется. Они говорили о том, что государственные органы должны сотрудничать по практическим вопросам с органами оккупационной власти, что отсутствие такого сотрудничества может привести к нежелательным конфликтам с населением и т.д. и т.п. В общем же они не предлагали своего политического решения и не возражали против того, чтобы отвод оккупационных войск и подтверждение линии Программы действий КПЧ стали для продолжения переговоров в Москве обязательным условием. О необходимости "братской помощи в борьбе с контрреволюцией" и о том, что соответствующая Программе действий КПЧ политика — это проявление "правого оппортунизма", ими тогда не было сказано ни слова.

Позже, в частной беседе, я коротко информировал Черника, Смрковского, Шпачека и Шимона о том, как Биляк, Йиндра, Якеш и другие пытались сформировать правительство в советском посольстве в Праге, и чем это кончилось. А я узнал от своих собеседников, что с ними случилось после того, как мы виделись в последний раз в кабинете Дубчека 21 августа 1968 года. Мы договорились также о совместных действиях на предстоявших переговорах и, естественно, о том, что все мы будем с Дубчеком, как только он сможет принять участие в переговорах.

Черник сказал мне позже, что нам следовало бы подготовить материал для заключительного заседания и как можно раньше представить его советскому политбюро. У него уже был черновик текста, мы обсудили его с остальными. Потом мы с Богумилом Шимоном начали составлять окончательный текст. После обеда я надиктовал его русский перевод кремлевской машинистке.

Содержание нашего проекта фактически представляло собой измененный вариант той позиции, которую политбюро ЦК КПЧ заняло в июле 1968 года по поводу варшавского письма пяти стран, которые впоследствии оккупировали Чехословакию. Правда, некоторые аргументы и общий тон текста мы изменили, поскольку изменилась ситуация: были отмечены некоторые отрицательные явления; мы признали и то, что политическое давление снизу несколько вышло за рамки ожиданий политического руководства. Но и на этот раз мы отказывались признать, что события в Чехословакии до оккупации были "контрреволюцией". Напротив, мы подчеркивали социалистический и демократический характер всенародного движения. Мы допускали, что положение в Чехословакии могло вызвать озабоченность пяти соседних стран, что руководство КПЧ этого недооценило. Но в интервенции мы видели трагическую ошибку, шаг, который не может ничего решить, а потому считали, что войска всех пяти государств должны быть из Чехословакии выведены. Только при этом условии последующее реформистское развитие Чехословакии может проходить в соответствии с общими интересами всех социалистических государств. В качестве возможной отправной точки мы ссылались на документы совещания в Братиславе. В отношении внутренней политики подчеркивалось, что Программа действий КПЧ — это основной документ, который должен определять линию компартии Чехословакии и в будущем. Если я не ошибаюсь, текст нашего нового предложения передал советскому политбюро Ольдржих Черник.

Советское политбюро было возмущено. Нам было сказано, что предложение выглядит как ультиматум, а что наша делегация должна понять, что ее положение не позволяет ей выступать с ультимативными требованиями. Чтобы подкрепить этот тезис, советская сторона представила свой проект. И вот этот проект, действительно, звучал как ультиматум. На основе советского проекта и был составлен подписанный позже текст "московского протокола". Вначале его отвергли все члены чехословацкой делегации. Его не поддержали даже члены промосковской группы. О том, что чехословацкая сторона не согласна с проектом, советскому политбюро сообщил Смрковский.

Я уже точно не помню, сколько раз и из-за каких формулировок возвращались к нам различные варианты текста, сколько раз они перерабатывались. Различные формулировки текста два, а иногда и три. члена нашей делегации передавали с нашими замечаниями одному-двум представителям советской стороны. А те либо были, либо не были уполномочены высказать свою точку зрения. И в зависимости от этого, либо сразу, либо через некоторое время возвращали наши варианты или замечания, в большинстве случаев отказываясь принять. От чехословацкой стороны в этой процедуре участвовали Черник, Смрковский, Швестка, Ленарт, Шимон и я. Партнерами от советской стороны были Косыгин, Суслов, Пономарев. Шимон и я встречались с Пономаревым.

Остальные во время этой бумажной войны занимались кто чем. В течение дня с некоторыми членами нашей делегации встречались Брежнев и Косыгин. О том, что делали представители промосковской группы чехословацкого руководства Биляк, Якеш и др., я не имел никакого представления, да тогда это меня и не интересовало. Я был занят формулировкой различных проектов и замечаний и поэтому почти не присутствовал в зале, где проходило так называемое "коллективное обсуждение". Чаще всего в этом зале находилась лишь небольшая часть делегации. Разбившись на маленькие группы, присутствующие обсуждали самые разнообразные вопросы.

К вечеру, когда советское политбюро окончательно отвергло наше предложение как недопустимый "ультиматум", обсуждался уже только советский вариант. Первоначальный советский текст отличался от подписанного позднее, главным образом, тремя моментами: в нем говорилось, что военная интервенция была обоснованной; в нем не упоминалось об отводе из Чехословакии советских войск; наконец, первоначальный советский вариант не признавал линию КПЧ правильной. Напротив, поскольку там говорилось о необходимости аннулировать XIV съезд КПЧ и сместить некоторых деятелей (в частности, Кригеля, Цисаржа, Шика, министра внутренних дел Павела и министра иностранных дел Гайека), создавалось впечатление, что реформистская политика КПЧ осуждается целиком и полностью. На изменении текста именно этих трех пунктов и сосредоточилось длительное обсуждение документа.

Промосковская группа в дубчековском руководстве КПЧ вела себя в основном пассивно. Такое поведение, с ее точки зрения, было разумно: эти люди знали, что разговорами ничего не изменишь. Поэтому никто из промосковской группы не поддержал первоначальный текст советского предложения и не препятствовал стараниям нашей делегации внести изменения. Сами же они не выдвигали предложений, выжидая только, чем закончится словесная дуэль. Зато активно старались уговорить нашу делегацию принять советские предложения Людвик Свобода и Густав Гусак, которые тогда в партийное руководство не входили. Свобода несколько упрощал, но все же, уговаривая нас, искренне боялся, что каждый час оттягивания решения увеличивает опасность столкновения между оккупационными войсками

и населением Чехословакии. Гусак же, напротив, старался лишь угодить советским представителям. Обсуждение XIV съезда в Высочанах он сводил к единственному — съезд необходимо аннулировать, так как в нем не участвовали делегаты Словакии.

Мне думается, что Людвик Свобода определил свою позицию уже 21 августа и с того момента от нее не отступал. Свобода не был политиком-реформистом, не был, собственно говоря, политиком вообще. Он был солдат, офицер армии Первой Чехословацкой республики,[4] который по случайному стечению обстоятельств стал командиром чехословацкой части, которая сформировалась во время Второй мировой войны в СССР и сражалась на стороне советских войск. Вероятно, уже тогда, во время войны, Свобода стал сторонником союза Чехословакии с СССР со всеми вытекающими из этого последствиями. Когда Свобода, до 1948 года, был министром обороны чехословацкого правительства, формально он оставался беспартийным, на деле же он представлял не только КПЧ, но ярко выраженную просоветскую ориентацию, а сторонники ее не утруждали себя чрезмерными размышлениями о государственном суверенитете в отношениях с СССР. У него было двумерное мышление. Все воспринималось с чисто военной точки зрения: либо с советской армией, либо против нее. Он больше был просоветским солдатом, чем коммунистом. Догмы коммунистической идеологии и тоталитарная практика коммунистов были ему, скорее всего, чужды, но в необходимости безоговорочной просоветской ориентации Чехословакии он был убежден.

В этих категориях Свобода и анализировал, вероятно, создавшееся в августе 1968 г. положение. Эти категории делали его мышление близким мышлению советских маршалов, для которых проблемы демократии существовали постольку, поскольку они касались их соображений о стратегическом господстве над территорией, на которой расположена Чехословакия. Людвик Свобода не возражал, чтобы на этой территории стратегически господствовал СССР, и это — ключ к его политической позиции. Когда в марте 1968 г. Свобода был избран президентом Чехословакии, он возложил венок на могилу Масарика,[5] и очень может быть, что он сделал это, чувствуя известную симпатию к основателю чехословацкого государства.

Став президентом, Свобода, вероятно, предпочитал больше походить на своих довоенных предшественников, чем на Новотного. И если бы дело не дошло до военной интервенции, он и в дальнейшем выступал бы за развитие демократии в Чехословакии. Но как только он оказался перед дилеммой — подчиниться ориентации на Советский Союз или нет, он по-солдатски однозначно выбрал Москву.

Ночью 22 августа Свобода сообщил мне о своей поездке в Москву с целью добиться возвращения Дубчека, но он тут же добавил, что потом Дубчек подаст в отставку, и все будет в порядке. Тогда это заявление показалось мне непонятным и противоречивым. Но после того, как я наблюдал Свободу в Кремле, никакой загадки для меня не осталось. С точки зрения самого Свободы, в его позиции вообще не было никакого противоречия. Противоречивой она могла показаться лишь тому, для кого интересы демократической реформы в Чехословакии были выше интересов советских маршалов. А поскольку Свобода принимал или отвергал демократическую реформу в зависимости от того, насколько она соответствовала военным концепциям советских маршалов, противоречие исчезало. Свобода был против похищения и убийства государственных деятелей. Но он не возражал, чтобы неугодные Москве политики были отстранены от дел более цивилизованным образом — например отставкой. Свобода не был сторонником интервенции со всеми вытекающими из нее последствиями, он хотел воспрепятствовать применению варварских методов и кровопролитию.

Во время переговоров в Кремле Свобода вдруг начал кричать членам дубчековского политбюро: "Вы все болтаете и болтаете! Вы уже доболтались до оккупации страны! Так хотя бы сейчас ведите себя соответственно и действуйте. Я видел за свою жизнь горы трупов и не допущу, чтобы из-за вашей болтовни погибли тысячи!"

Опасность кровопролития не была плодом горячечного воображения Свободы. В письме, посланном ему президиумом съезда в Высочанах, президиумом Национального собрания и правительством, которое я ему привез, говорилось: "Очень серьезный и опасный фактор представляет собой растущая усталость и нервное истощение как оккупационных войск, так и нашего населения". Авторы этого письма выше всего ставили интересы демократического развития в Чехословакии, а потому предлагали Свободе прервать московские переговоры, вместе с Дубчеком и Черником вернуться в Прагу, стабилизировать положение, проконсультироваться дома и лишь после этого вернуться к переговорам.

Позиция Людвика Свободы была иной: он хотел как можно быстрее вернуться домой, но с соглашением в кармане, покончив тем самым с неопределенностью. В Москве Свобода встречался не только с Брежневым, но и с маршалами. В отличие от тех, кто писал ему письма из Праги, он, вероятно, не очень обольщался насчет своего собственного положения. Свобода знал, что при всем своем желании он сможет вернуться в Прагу лишь после того, как подпишет соглашение, — вернее, диктат Кремля. Внутренне он этому не противился; он из Чехословакии уехал, отчетливо понимая, как ему придется поступить. Он думал, что разговоры о сопротивлении были бессмысленной болтовней политиков.

Что же касается уверенности Свободы, что в данной обстановке человеческие жертвы были бы напрасны, то, как я уже писал в начале главы, и я ее разделял. Этими возможными жертвами, тысячами погибших, Свобода постоянно угрожал нашей делегации во время переговоров в Кремле, торопя нас прийти к соглашению. И ему было совершенно безразлично, какие возможности оставит для КПЧ текст протокола. Тем самым Свобода служил и советским интересам. И все же я отказываюсь ставить знак равенства между Людвиком Свободой и людьми типа Биляка, Йиндры, Якеша и др., которые, будучи сторонниками тоталитарной диктатуры, тайно подготавливали военную интервенцию, или между Свободой и людьми типа Гусака, который сразу же перешел на сторону интервентов ради реализации своих личных амбиций, ради власти. Мотивы Свободы были иными. Лично я не могу согласиться с ними. Я не разделял их тогда, не разделяю их и сейчас. Я просто пытаюсь понять его, но не оправдать.

По-моему, проблема Людвика Свободы вовсе не в том, что в решающую минуту он предал демократические реформы "Пражской весны". Дело просто в том, что во время "Пражской весны" главой государства оказался человек, ничего общего с

демократической политикой не имевший. Во время "Пражской весны" главой правительства стал наш старый чехословацкий маршал, суждения которого в чем-то напоминали маршалов из Москвы. Чехословакия — не держава, а потому и у нашего маршала не было агрессивного великодержавного аппетита; напротив, как маленький маршал, он по-солдатски подчинялся маршалам большим, с которыми давно и прочно связал свою судьбу.

В августе 1968 года Москва использовала Людвика Свободу в своих целях. В последующие годы, — вместе с гусаковским руководством КПЧ, — она им злоупотребила. Свобода запутался в паутине политики "нормализации" и сыграл тогда унизительную роль статиста. Все это оказалось возможным только благодаря его примитивному просоветскому мышлению, его старости и тщеславию, типичному для многих вояк, причем не только вояк по профессии, но и по характеру. Народу было за него стыдно, а власть имущим — как в Праге, так и в Москве — он стал в тягость. И в 1975 году Свобода навсегда сходит с политической сцены.

В те же дни московских переговоров начал свою крупную политическую игру Густав Гусак. Ставкой была наивысшая должность в КПЧ. Тогда, правда, Гусак поддерживал два основных требования реформистского крыла партийного руководства: включить в заключительный протокол гарантии ухода иностранных войск с территории Чехословакии и подтвердить в тексте протокола правильность линии Программы действий КПЧ. Но он последовательно и настойчиво защищал советское требование признать недействительным XIV съезд КПЧ в Высочанах. Этот вопрос, как я уже говорил, был предварительно согласован еще до моего приезда. Но несмотря на это, съезд в Высочанах снова стал предметом обсуждения; во время переговоров стороны пытались найти политически более подходящее, компромиссное решение.

Я сам старался найти какой-то компромисс. Мне казалось абсурдным, что соглашение с московским политбюро может аннулировать XIV съезд КПЧ, который сыграл в Чехословакии такую важную роль. Ведь он не только укрепил позицию КПЧ среди населения, но и спас жизни и должности арестованных членов дубчековского руководства. К тому же я приехал в Москву от имени партийного руководства, избранного этим съездом, и

это меня обязывало. Правда, я не был членом политбюро, избранного новым ЦК КПЧ в Высочанах. Но членами его были Дубчек, Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и Гусак. Формально именно эти люди должны были защищать (или, напротив, осудить) позицию съезда в Высочанах. Но они на съезде не присутствовали, они не имели никакого представления об атмосфере съезда и о надеждах тех, кто там, в Чехословакии, представлял тогда КПЧ. А я помнил лица людей, которых я видел на заводах ЧКД, я отчетливо представлял, что бы они сказали о проекте документа, который перечеркнет, осудит их деятельность в первые дни советской оккупации.

Смрковский, Шпачек и Шимон прибыли в Кремль уже после того, как чехословацкая делегация предварительно согласилась аннулировать XIV съезд, но они пытались снова вынести этот вопрос на повестку дня. Им было невозможно отказаться от результатов съезда, который спас им жизнь. Поэтому проблема съезда обсуждалась снова и снова; снова и снова делались попытки найти иное, компромиссное решение. Наконец, начал вырисовываться вариант возможного компромисса: признать недействительными выборы нового ЦК КПЧ. В таком решении было весьма заинтересовано московское политбюро, которое ссылалось на заявление самого XIV съезда о том, что выборы ЦК не окончательны, поскольку работа съезда еще не была завершена. Мы же рассуждали так: в ближайшее время, — тогда предполагалось, что это произойдет в течение двух месяцев, — после отвода советских войск из ЧССР, съезд соберется снова, пересмотрит свои решения и будет избран новый ЦК. До этого в состав старого ЦК и его политбюро будут кооптированы члены ЦК, избранного на съезде в Высочанах, которые обеспечат численное превосходство сторонников реформ. Поэтому в заключительном московском протоколе нужно было так сформулировать утверждение о недействительности XIV съезда, чтобы осталась открытой возможность осуществить этот план. И мы этого добились: принятое в Москве компромиссное решение было проведено в жизнь на заседании Пленума ЦК КПЧ, которое состоялось 31 августа 1968 года сразу после возвращения дубчековского руководства из Москвы.

По всей вероятности, Гусак обещал советскому политбюро добиться от чехословацкой делегации признания XIV съезда

КПЧ недействительным. Его действия осложнили достижение компромисса. Но в конце концов и Гусак согласился. Для этого у него были серьезные основания: Гусак не был прежде членом ЦК, а съезд в Высочанах избрал его и в ЦК, и в политбюро. Принятие компромиссного решения обеспечивало Гусаку членство в этих органах. Исходя из интересов своей личной карьеры, Гусак рассчитывал вначале на другой вариант: он надеялся, что на съезде компартии Словакии (КПС) его изберут на должность первого секретаря и тогда он уже не будет зависеть от постановлений съезда в Высочанах. Он звонил из Москвы в Братиславу, прося отложить съезд компартии Словакии, который был назначен на 26 августа, до возвращения чехословацкой делегации из Москвы. Его сторонники обещали выполнить эту просьбу. В момент моего приезда в Москву Гусак был убежден, что съезд в Братиславе не заседает. Я сказал ему, что он ошибается, что мне точно известно, что словацкий съезд начнется завтра, и он наверняка утвердит работу высочанского съезда. На съезд в Словакии была направлена делегация высочанского съезда. Я сообщил Гусаку и состав этой делегации, который был утвержден еще до моего отъезда в Москву. Выслушав меня, Гусак самоуверенно и презрительно улыбнулся. Он смотрел на меня как на дефективного ребенка, который понятия не имеет, как делается политика, и с апломбом назвал все это чепухой: съезд в Братиславе не состоится, в этом он уверен. И вообще только от него зависит будет съезд или нет.

Но к вечеру Гусак, вероятно, уже знал, что съезде Братиславе начнет свою работу на следующий день. И поэтому пройдет без него. Это несколько поколебало его самоуверенность. Он начал склоняться к решению, которое позволило бы назначить некоторых избранных на высочанском съезде деятелей на ключевые партийные должности, так как только это могло привести к власти и его. Но к тому же Гусаку удалось осуществить и свой первоначальный план: съезд КП Словакии начал свою работу 26 августа, но уже 27 на нем присутствовал Гусак. Там ему удалось провести резолюцию об отмене высочанского съезда, выполнив тем самым данные Москве обещания. Более того, будучи избранным первым секретарем компартии Словакии, Гусак автоматически, независимо от выборов высочанского съезда, становился членом политбюро всей КПЧ.

Но в первый день работы, когда еще Гусак отсутствовал, словацкий съезд, как и съезд в Высочанах, принял резолюцию, которая осудила интервенцию.

Во время переговоров в Кремле Гусак выступал как соратник и союзник Дубчека, Свободы и Черника. Главным образом — прямо и косвенно — он поддерживал Свободу. В отношении Гусака к Смрковскому уже тогда была заметна определенная сдержанность. Шпачек, Шимон или я вообще не были для него достаточно значительными фигурами. Поэтому к нам он никак не относился. В те дни Гусак не присоединялся и к промосковской группе, т.е. к своим нынешним компаньонам по власти Биляку, Йиндре, Якешу и др. Советскому политбюро он понравился. Перед нашим отлетом из Москвы Косыгин сказал мне: "Товарищ Гусак такой способный товарищ, замечательный коммунист. Мы его раньше не знали, но он произвел на нас очень хорошее впечатление".

Я никогда не обольщался иллюзиями в отношении Гусака. Я познакомился с ним поздно, лишь в марте 1968 года, когда мы оба были сотрудниками Академии наук — он в Братиславе, я в Праге. Тогда, на одном из совещаний исследовательской группы, которой я руководил и которая занималась проблемой развития политической системы в Чехословакии, рассматривался вопрос государственно-правового упорядочения национальных отношений между чехами и словаками. В этом совещании принял участие и Густав Гусак.

В то время я уже много слышал о нем — как от его друзей, так и от врагов. Поэтому я ожидал встретить амбициозного политика, стремящегося вернуться в круг власть имущих. Но действительность превзошла все мои ожидания. На заседании группы, где все мы привыкли говорить по существу, откровенно, с терпимостью к разным взглядам, Гусак выступил как политический лидер, дающий указания и благосклонно разъясняющий неполноценным людям "правильную линию". По содержанию его выступление было крайне консервативно. Он повторял затертые фразы из работы Ленина "Государство и революция", смысл которых давно уже был отброшен в политической практике Советского Союза и других стран советского блока. Гусак старательно отгораживался от всех идей плюралистического, демократического понимания политической системы социализ-

ма. В области национальных отношений Гусак требовал федерализации государства. Он выступал как человек, который все знает. Местами его выступление было грубо, местами демагогично.

В конце совещания, подводя итоги работы, я сказал, что выступление Гусака годилось бы для митинга, но что мыслей оно не содержало. Гусак с трудом скрыл злобу; у меня появился враг.

Впечатление, которое он на меня тогда произвел, было настолько неблагоприятным, что сближаться с ним мне совершенно не хотелось.

Его отношение было мне безразлично.

До войны Гусак, по образованию юрист, принадлежал к словацкой коммунистической интеллигенции. Он работал в подполье и свою главную роль сыграл в словацком национальном восстании в августе 1944 года. С того времени началась особая, противоречивая эволюция Гусака и как политика, и как человека. Можно говорить о личной трагедии Гусака, но гораздо серьезнее трагедия народа, которым из-за поддержки извне он правит вот уже десять лет.

Гусак — политик сталинско-готвальдовской гвардии в КПЧ, линию которой он проводил и методами которой он пользовался. Однако, с другой стороны, Гусак — личность-самородок. Он гораздо талантливее большинства этой гвардии. У него были свои взгляды и убеждения, — в первую очередь по вопросу Словакии, — а потому он неизбежно вступал с этой гвардией в конфликт. Это основное противоречие красной нитью проходит через всю политическую деятельность Гусака.

Во время войны, находясь в словацком коммунистическом подполье, Гусак выступал как носитель официальных в то время взглядов Коминтерна. Так, например, Густав Гусак предлагал Готвальду после войны присоединить Словакию к СССР как союзную республику, ссылаясь при этом на невысказанное желание большинства словацкого народа. Гусак огульно называл чехов, оставшихся в Словакии во времена словацкого фашистского государства, группой коллаборационистов; он говорил, что участвовавшие в движении сопротивления евреи ненадежны, и настаивал, чтобы они были изолированы. Сталинское мышление, согласно которому определенная классовая, национальная или религиозная группа может подпасть под подозрение,

а затем быть дискриминирована как целое, столь же типично для Гусака, как и для всей сталинско-готвальдовскои гвардии в КПЧ.

В послевоенные годы, до его ареста в 1951 году, Гусак был одним из самых талантливых и активных проводников сталинской политики. После выборов 1946 года он стал председателем Собрания уполномоченных в Словакии. Коммунисты Словакии проиграли в то время выборы. Методы, которые применяет Гусак в те годы, послужили прообразом тактики КПЧ в масштабах всей страны в феврале 1948 года для захвата власти независимо от результатов голосования. Гусак, не колеблясь, дискредитировал и натравливал друг на друга своих политических противников — существовавшую в то время Демократическую партию и католическую церковь. Как председатель Собрания уполномоченных, Гусак принимал активное участие в провокациях, организованных органами государственной безопасности и направленных против некоммунистических политиков и духовных лиц. Нельзя отрицать, что некоторые лица из рядов антикоммунистической оппозиции в Словакии были в то время связаны с католическими политиками фашистского толка. Однако Гусак, прибегая к полицейским провокациям, создавал впечатление, будто *все* некоммунистические политические течения представляли непосредственную опасность для демократического чехословацкого государства. Он не рассчитывал получить большинство голосов на демократических выборах, а поэтому старался захватить ключевые позиции путем кабинетной политики, провокаций и насилия.

И все же Гусак-сталинист отличается от других сталинистов Братиславы и Праги. Он действительно озабочен, чтобы словацкие национальные интересы не ущемлялись пражским центром. Кроме того, Гусак — не типичный аппаратчик, т.к. сила аппарата зиждется на посредственности и анонимности работников. Он, скорее, предпочитает интеллигентное манипулирование, осуществляемое способной, квалифицированной правящей элитой. Поэтому для тех, кому Гусак помог захватить власть, для государственного и партийного аппарата, для политической полиции он так и не стал своим. Гусак для них — инородное тело, индивидуалист, амбициозный человек, которого, однако, побаиваются. В аппарате его называли "коммунистом-барином". Эта

аттестация на разные лады повторялась официальной партийной пропагандой, когда Гусак был в тюрьме, и позже, при Новотном, когда Гусак был уже на свободе. Несмотря на то что он содействовал победе сталинизма в Чехословакии, Гусак оказался его жертвой, так как другие сталинисты видели в нем опасно талантливую личность, а сторонники пражского централизма — опасного защитника словацких национальных интересов.

В сущности, Гусак — неудачник. В период словацкого национального восстания он, отказавшись от прежних своих планов присоединить Словакию к СССР, помог вернуть Словакию в единое чехословацкое государство. Он надеялся, что Словакия — а тем самым и он как словацкий политик — получит возможность удовлетворять свои интересы. Но в итоге в стране была создана диктатура центра, вступившая в противоречие с интересами общества вообще, а тем самым с интересами Словакии. В период с 1945 по 1951 гг. Гусак делал все для укрепления власти КПЧ, а тем самым и своей собственной власти. Но его арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Диктаторы, которым так активно помогал Гусак, исключили его из круга высоких чиновников, они боялись его как опасного конкурента.

Арест Гусака был в значительной степени следствием его личного конфликта с Широким, который в готвальдовском, а позже и в новотновском политбюро представлял то направление сталинистов, которое требовало безропотного подчинения словацких интересов диктатуре центра. В пятидесятые годы Гусак и Широкий были соперниками. Думаю, что если бы тогда победил Гусак, он бросил бы в тюрьму Широкого, не испытывая при этом угрызений совести. Но факт остается фактом: арестован был Гусак. Его осудили за "преступления", которых он не совершал. Десять лет он был узником сталинских, а позже новотновских тюрем.

В 1963 году Гусака реабилитировали. Новотный предложил ему, как и Смрковскому, вернуться к политической деятельности. Он мог стать заместителем министра финансов. Гусак отказался. Я не был тогда знакам с Гусаком, но думаю, что поступил он так по двум причинам. Гусак понял, и понял верно, что Новотный хочет перевести его из Словакии в Прагу, чтобы оторвать от политического тыла. Кроме того, в политическом плане должность заместителя министра финансов была для Гусака чересчур незначительна. Мне думается, что Гусак уже в то время делал ставку на серьезные изменения в стране, надеясь сыграть в будущем более важную политическую роль.

В тюрьме Гусак несколько изменился, но в основном остался самим собой. Он на собственном опыте увидел, как поступает режим коммунистической диктатуры с теми, кого выбрасывает на свалку. Но себя самого Гусак не относил к вышвырнутым навсегда и "за дело". Напротив, он вышел из тюрьмы с твердым убеждением, что ему "по праву" положено место на Олимпе. Ведь он всегда защищал коммунизм, интересы рабочего класса в Словакии, ведь он способнее тех, кто правит сейчас. Он наверняка думал, что режим нужно изменить. Однако представления Гусака о необходимых переменах были обусловлены его прошлой политической деятельностью. К тому же на протяжении многих лет он был изолирован от того, что происходило в стране. Выйдя из тюрьмы, Гусак остался сильной личностью, но демократом не стал. Он был убежден в своей миссии, стремился устранить от власти бесталанных, чтобы показать им, что такое настоящий политик.

Мне думается, что потребность самореализации неразрывно связана у Гусака со сферой политики и власти. Он убежден в своем призвании указать правильный путь. Мирослав Кусый, один из ведущих коммунистов-реформистов Словакии, рассказывал мне об одной встрече с Гусаком. Это было утром 21 августа 1968 года перед зданием ЦК в Братиславе. Вокруг двигались танки. Это были первые часы оккупации. Тогда, под грохот танков, Гусак произнес: "Я выведу народ из этой катастрофы". Нечто подобное в такие минуты мог сказать лишь человек, глубоко верящий в свою миссию.

После 1963 года Гусак по собственной инициативе встречался со многими коммунистами-реформистами в Братиславе и Праге. На протяжении нескольких лет Гусак выступал с острой критикой Антонина Новотного, умело собирая вокруг себя оппозиционно настроенных людей.

Многие влиятельные коммунисты-реформисты стали видеть в нем возможную альтернативу, смену Новотному. Сам Новотный все больше и больше боялся Гусака, старался ограничить его по¬

литическое влияние. Он по любому поводу дискриминировал его. Но снова бросить Гусака в тюрьму Новотный уже не мог. Напротив, преследования со стороны Новотного еще больше способствовали росту популярности Гусака. Гусак умело использовал и это.

После смещения Новотного Дубчек с Черником и Кольдером подбирали состав нового руководства. Никому из них не хотелось включить Гусака в партийную верхушку. На должность секретаря компартии Словакии Дубчек назначил Биляка — тогда Дубчек считал его своим товарищем. Поэтому даже в Братиславе у Гусака не было никаких перспектив. Он снова оказался в явном проигрыше и должен был удовлетвориться должностью заместителя председателя правительства.

"Пражскую весну" Гусак воспринял как временное явление. Окончательное соотношение сил должно было — считал он тогда — определиться в будущем. Положение его не было легким. Попытки радикальных реформ, которые вели к политическому плюрализму, он считал несостоятельными, неосуществимыми. В личных беседах он называл коммунистов-реформистов, — главным образом из кругов пражской интеллигенции, — "могильщиками процесса возрождения". Дубчек и некоторые другие члены партийного руководства выглядели в его глазах наивными дилетантами в политике, которых он явно превосходит талантом и политическим реализмом. У него не было, как мне кажется, чрезмерных иллюзий в отношении великодержавной политики СССР. Гусак знал из собственного опыта, что советская армия не поддержала словацкого национального восстания, поскольку оно не соответствовало стратегическим замыслам Сталина. Но тем более — и как убежденный коммунист, и как политик-реалист — он считал необходимым избежать конфликта с Москвой. В случае же возникновения такого конфликта Гусак заранее был готов на компромисс. При таких взглядах он не мог найти поддержки у реформистов, а просоветская и сталинская клика в КПЧ сама избегала союза с ним. Поэтому Гусаку никак не удавалось подняться на верхние ступеньки иерархической лестницы. В конце концов Гусак вынужден был присоединиться к радикальным течениям, представители которых требовали дальнейших персональных изменений.

Но для этого ему пришлось замаскироваться и скрывать свои подлинные убеждения.

В шестидесятые годы и в период "Пражской весны" многие коммунисты-реформисты видели в Гусаке политического союзника, а некоторые — и личного друга. Для Гусака же эти люди были необходимым, но не лучшим орудием для осуществления собственных мессианских представлений и связанных с этими представлениями амбиций. Многие из этих людей разобрались в Гусаке слишком поздно, лишь после 1969 года, когда Гусак наконец-то поднялся на самую высшую ступеньку власти.

Наиболее показателен случай с историком Миланом Гиблом, который в 1968 году быш ректором Высшей партийной школы ЦК КПЧ. В последние годы правления Новотного Гибл делал все возможное, чтобы Гусака не только реабилитировали, но и вернули на политическую арену. Он поддерживал Гусака в его выступлениях против Новотного, и за это в 1965 году Новотный выгнал Гибла с работы. Еще в апреле 1969 года, когда Гусак сменил Дубчека на посту Генерального секретаря ЦК КПЧ, будучи убежден, что Гусак — самый подходящий политик для осуществления "кадаризации", для защиты остатков реформ 1968 года, Гибл активно помогал ему заручиться поддержкой реформистов в ЦК. А в 1972 году Гибла арестовали, и Гусак хладнокровно позволил приговорить Гибла к шести с половиной годам тюрьмы за "подрывную деятельность против республики". Гибл же все время выступал за сохранение хотя бы некоторых реформ, старался собрать вокруг себя реформистов, своих единомышленников, обращался за поддержкой к коммунистическим партиям Италии и Франции. Гусак, сам несправедливо осужденный в прошлом, продержал Гибла в тюрьме вплоть до конца 1976 года, хотя ему было хорошо известно, за что арестовали Гибла, насколько унизительно и опасно для здоровья Гибла заключение.

Придя к власти, Гусак расправился почти со всеми, кто помог ему вернуться к политической деятельности и занять высшую партийную должность. Более того, он связал свою судьбу с людьми, которых презирал и считал бездарными слугами Новотного — прежде всего с Василием Биляком. Правда, Гусак оказался во власти обстоятельств: он стал первым человеком

партии, когда удержаться на этой должности мог лишь верный лакей Кремля. А Кремль требовал ликвидации прежних друзей Гусака и возвращения к власти его многолетних личных врагов. Получая свой пост по милости Москвы, Гусак должен был знать об этом заранее. Он гораздо умнеее своих нынешних коллег по политбюро. Он прекрасно понимал, как ему придется действовать. Всю жизнь он мечтал вскарабкаться на самую высокую ступень власти. И когда такая возможность представилась, Гусак не устоял. Он отказался от своих прежних убеждений, согласился заплатить полную цену за право стоять во главе оккупированного государства.

После того как в мае 1969 года московское политбюро назначило Гусака на высшую должность в КПЧ, в Чехословакии казалось, что положение несколько улучшилось. Было известно, что Гусак — не советский агент. Напротив, поскольку в шестиде¬сятые годы он был связан с реформистами, люди надеялись, что ему удастся "предотвратить трагедию". Им казалось, что Гусак представляет центр. В Чехословакии этому верили довольно долго, на Западе же журналисты думают так до сих пор. До сегодняшнего дня они пишут о Гусаке как о человеке, который не допускает эксцессов. В действительности такие утверждения ни на чем не основаны. Гусак проводит политику, угодную Кремлю, и если иногда создается впечатление, что дело не доходит до крайностей, то только потому, что этого не желают в Кремле. В самой КПЧ, в аппарате ЦК и других партийных группировках у Гусака не было и нет поддержки. Он не принадлежит ни к группе так называемого здорового ядра КПЧ , то есть к тем, кто в 1968 году хотел советской оккупации и способствовал ей; его нельзя отнести и к прагматикам в партийном и государственном аппарате. Он держится на милости Кремля. В этом его сила, но в этом же и его слабость. Гусак есть и будет всего лишь советским наместником в Чехословакии, которого, если возникнет необходимость, кремлевские патроны безжалостно устранят.

Весьма вероятно, что тогда, в Кремле, в августе 1968 года, Гусак сам не вполне предвидел, какой режим сложится в Чехословакии под его властью. Я не думаю, что Гусак хотел ликвидировать треть членов КПЧ как "пособников контрреволюции". Гусак, вероятно, не представлял тогда, что Биляк, которого он презирал, станет его главной опорой. И все же уже тогда Гусак

совершенно сознательно вступил на путь, который привел его к вершинам власти и в партии, и в государстве; уже тогда Гусак готовился принести в жертву своим амбициям реформы "Пражской весны".

Так вот, поздним вечером 25 августа, в отсутствие Дубчека и Кригеля пять сторонников демократических реформ — Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и я — столкнулись с семью представителями промосковской группы (Биляк, Якеш, Швестка, Пиллер, Ленарт, Барбирек, Риго). Восьмой из этой группы — Алоиз Йиндра — тоже отсутствовал. Мы все еще пытались внести некоторые исправления в советский проект заключительного документа, старались сберечь хоть некоторый простор для осуществления реформ. На нас постоянно сыпались окрики Людвика Свободы и Густава Гусака. Все это наблюдали министры Дзюр и Кучера, посол Чехословакии в Москве Владимир Коуцкий. Они не вмешивались в обсуждение, но явно были на стороне тех, кто готов был подписать советское предложение без каких-либо оговорок.

Во время обсуждения протокола советское политбюро постоянно оказывало давление на чехословацкую сторону. В основном это делалось путем сепаратных переговоров с отдельными членами чехословацкой делегации, когда угрозы чередовались уговорами и обещаниями. Советские обещания, которые давались в таких частных беседах, вызывали у некоторых делегатов иллюзию, будто именно они могут заручиться советской поддержкой. Давление советской стороны определяло атмосферу переговоров. Над нами постоянно висели две очень серьезные угрозы.

Во-первых, нам дали понять, что мы не выйдем из Кремля, пока не подпишем советский ультиматум, — пусть и с некоторыми изменениями. Советская сторона не скрывала этого; напротив, несколько раз было сказано: не подпишете завтра, подпишете через неделю. И не было сомнений, что Кремль свою угрозу осуществит. У шести членов политбюро, которых привезли как арестантов, имелись на этот счет весьма наглядные представления. Они уже пережили допросы инквизиции; им показали орудия пыток. Я говорю это буквально, а не образно. Мне известно, что каждый из них уже прощался с жизнью. Это, правда, придает силу, так как после первого страха перед смертью наступает

примирение с судьбой. Но психологически состояние резко меняется, когда вместо неизбежного конца перед человеком снова открываются ворота в жизнь. Когда самоубийцу спасают, он ведь тоже не сразу повторяет свою попытку.

С чисто человеческой точки зрения положение некоторых членов дубчековского руководства было похоже скорее на положение людей, которых шантажируют гангстеры, чем на положение правительственной делегации на международных переговорах. Но не это главное. Главное то, что знали мы все: по некоторым принципиальным вопросам Кремль не уступит, даже если расплачиваться за это придется бессмысленным кровопролитием в Чехословакии. Такова была вторая угроза, которую мы слышали не только от Свободы, но и во время прямых контактов членов нашей делегации с советскими представителями. Если вспыхнет конфликт, — говорили нам, — то советским войскам приказано применить против населения Чехословакии оружие. Мы ведь должны понять, что сейчас, то есть пока хотя бы в общих чертах не достигнута договоренность, они уступить не могут. И если все откладывается и задерживается, то это наша вина, только мы несем ответственность за жизнь гражданского населения Чехословакии.

Легко утверждать задним числом, что Москва не пошла бы на драконовские меры, а если бы пошла, то это было бы чревато для нее катастрофическими международными последствиями. Легко рассуждать, что народам Чехословакии открытый конфликт принес бы историческую и нравственную победу, что они противопоставили бы тогда цепи капитуляций в своей истории акт героического сопротивления могущественному агрессору и выпрямили бы спину. Мы и тогда обдумывали эти аргументы. Но все же трудно было взять на себя ответственность за решение, чреватое кровавой бойней. У нас не было даже гарантии, что бойни не произойдет еще до того, как мы в Кремле придем к соглашению. Ведь отступление от первоначального плана, попытка Кремля договориться с теми, кого по идее предполагалось судить "контрреволюционным трибуналом", — это был максимум, достигнутый пассивным сопротивлением народа. Но если бы переговоры в Москве провалились, у Кремля не осталось бы выхода. Он вынужден был бы вернуться к своему первоначальному плану и проводить его в жизнь с еще большей жестокостью. Нелепо надеяться, что разбойник, сила которого в угрозе оружием, не применит это оружие, если окажется в затруднительном положении и поймет, что другого выхода у него нет. А советское политбюро не было неопытным в разбое новичком. Сталинская традиция массовых преступлений, как и Будапешт 1956 года, — живое тому доказательство.

Разумеется, и для Москвы установление в Чехословакии оккупационного режима, а тем самым доведение агрессии до всех логических ее последствий, было в политическом отношении не самым удачным исходом. Но уже решившиеся на военную оккупацию силы при определенных обстоятельствах могли пойти и на это. Такое решение не требовало даже согласия политбюро ЦК КПСС: достаточно, чтобы за него выступили "ястребы" в генералитете. В их власти было начать бойню, свалить ответственность за нее на "волнения", вызванные "контрреволюцией" и чехословацкими гражданами.

Мы знали, конечно, что советское руководство, оказавшись вынужденным вести переговоры с Дубчеком, стремилось провести руками самого Дубчека и других реформистов те меры, которые невозможно было осуществить посредством Биляка и Йиндры. Но насколько им это удастся, зависело хотя бы отчасти от тех, кого Москва пыталась использовать как орудие. Палка, которой хотела воспользоваться Москва, была о двух концах. Перед нами снова открывались определенные политические возможности. Путь компромисса давал нам известные шансы, а как ими воспользоваться — зависело уже от нас самих. Даже если надежда была невелика, все же открывалась реальная политическая перспектива. И если мы хотели предотвратить кровавую бойню, спасая при этом хотя бы часть реформ, мы должны были пойти на этот компромисс. Так, по крайней мере, мы считали тогда, в Кремле.

Ни для кого не было тайной, что советское политбюро не было едино, когда решался вопрос о военном вмешательстве. Поэтому мы рассчитывали на то, что провал военных методов укрепит позицию тех, кто в свое время не соглашался на применение силы. Политический компромисс с Москвой во всех отношениях был бы выгоден Кремлю, но такой компромисс вовсе еще не означал автоматического сведения на нет политики реформ в Чехословакии: требования "ястребов" можно удовлетворить

размещением незначительного контингента советских войск — прежде всего стратегических частей — при условии, что эти войска не будут вмешиваться в политику КПЧ, то есть в политику проведения реформ, пусть и в меньших масштабах. Таким образом, мы рассчитывали, что сможем приступить к своего рода "кадаризации" в максимально благоприятных условиях — без кровопролития, без ссылки наших людей в Сибирь, без репрессий со стороны полиции, без тоталитарной диктатуры.

Приблизительно так рассуждали мы все — Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и я. Но у каждого, кроме того, были и свои соображения. Различной была и степень нашего оптимизма относительно будущего Чехословакии. Всем нам было ясно, что желаемое часто принимается нами за действительность, что мы склонны видеть лучшую из существующих возможностей. Во время дискуссий мы высказывали свои сомнения вслух; мы подсмеивались над своей верой, а время от времени то один, то другой теряли всякую веру. Я помню, как несколько раз, совершенно неожиданно, в каком-то провидении, — без каких-либо логических взаимосвязей, — мне вдруг начинало казаться, что все наши рассуждения бессмысленны, что мы в чем-то себя обманываем, а правда очень проста: мы подписываем капитуляцию, отречение, и народ дома назовет это изменой. Тогда в Кремле в один из таких моментов я сказал Смрковскому (кажется, при этом присутствовали Шпачек и Шимон), что для меня лично эти переговоры оказались полезны лишь в одном: я понял Эмиля Гаху.[6] Никто не возмутился; Гаху тогда, наверняка, вспоминали все. Но некоторые отворачивались от собственных сомнений энергичнее, упорнее других. Кажется, первым решил подписать советский ультиматум Черник.

Это серьезно сузило обсуждение различных альтернатив. Было ясно, что промосковское большинство участников переговоров, а вместе с ними министры Дзюр и Кучера и посол Чехословакии в Москве Коуцкий подпишут ультиматум в любом виде. Затем ультиматум подпишут Свобода и Гусак. И как только стало ясно, что ультиматум подпишет и Черник, советской стороне оставалось убедить только Дубчека. Без подписи Смрковского положение осталось бы для нее довольно затруднительным, но с политической точки зрения все же терпимым. С этой же, политической точки зрения, подписи Шпачека, Шимона, Кригеля и моя значили не так уж много. Это гирька, которая не перетянула бы чашу весов.

Позиция Дубчека оставалась, однако, неизменной вплоть до 26 августа, до торжественного заседания, которое предполагалось завершить подписанием документа. Даже на этом заседании еще вносились какие-то изменения в текст. На переговорах, которые проходили ночью 25 августа, Дубчека не было, но некоторые члены делегации его несколько раз навещали. Дубчек поддерживал все предлагаемые нами изменения. Он хотел, чтобы мы продолжали вести переговоры и работать над текстом, но окончательного "да" относительно своей подписи под документом не говорил. Он хотел увидеть прежде окончательный текст договора.

Поздней ночью 25 августа вся чехословацкая делегация, за исключением Дубчека, Кригеля и Йиндры, собралась за одним столом. Председательствовал Ольдржих Черник. Каждый член делегации должен был выступить и заявить, подпишет ли он документ. Текст протокола еще не был отредактирован. Окончательную редакцию предполагалось принять на следующий день на совместном заседании с советским политбюро в полном его составе. Так что еще была возможность вносить изменения. К тому времени советская делегация еще не приняла формулировку об отводе войск с территории Чехословакии. (В подписанном протоколе такая формулировка есть.) Поэтому я считал преждевременным брать на себя обязательство подписать документ, исключив тем самым для себя возможность дальнейших изменений текста. Это было как раз то заседание, на котором Свобода кричал, что мы доболтались до оккупации страны иностранными армиями и продолжаем болтать. Гусак настаивал, чтобы высказался каждый из присутствующих. Атмосфера была очень тягостная, напряженная, истеричная. На этом заседании я отказался сказать "да" и оставил за собой право принять решение на следующий день — в зависимости от итогов окончательного обсуждения. Все остальные уже тогда обещали подписать протокол. Что же касается отсутствовавших, то в позиции Алоиза Йиндры не сомневался никто. Позиция Кригеля была вообще неизвестна, а Дубчек, как и я, хотел сообщить свое окончательное решение на следующий день. Только он мог еще изменить ход событий.

Совещание окончилось почти в три часа ночи. Это была ночь с 25 на 26 августа. Потом мы поехали в правительственный особняк на Ленинских горах. В прихожей, как и в Кремле, стояли столики с водкой, коньяком, икрой, осетриной и другими яствами. Я вошел в свою комнату и свалился на кровать. Послышался тихий стук в дверь. Я открыл и увидел барышню в халатике, под которым, как мне показалось, не было ничего. "Вам что-нибудь еще нужно, товарищ?" — проговорило это создание и кокетливо улыбнулось. Я не знал, какие еще услуги полагаются официальному гостю Кремля, но выяснять не хотелось. Я раздраженно ответил, что мне нужно лишь одно: чтобы меня оставили в покое. И закрыл двери.

С ночи на 21 августа я спал лишь три раза, всего по несколько часов. Я выкурил за это время сотни сигарет и выпил десятки чашек черного кофе. Напряжение не ослабевало — в кабинете Дубчека с дулом автомата у затылка, в советском посольстве в Праге, на съезде в Высочанах, а потом в Москве, в Кремле. От усталости я не мог уснуть. В голове мелькали не мысли, а картины, ощущения, бесконечные и бессвязные кадры. А в просветах между ними меня вдруг осеняло ошеломляюще ясное и бесхитростное понимание.

Я открыл окно. Оно выходило в сад. Свежий утренний воздух несколько успокаивал нервы, на смену видениям снова пришли мысли. Только сейчас мой мозг начал анализировать обстановку глобально, выделяя наиболее существенное. Пока я находился в вихре событий, разговоров, совещаний, в процессе принятия решений по поводу десятков конкретных вопросов, пока я писал проекты и замечания, переводил их на русский язык, обдумывал конкретные требования данного момента, я жил только своей ролью, как заранее запрограммированная вычислительная машина. То, что происходило вне меня, либо воспринималось как фон, либо служило стимулом для моих действий. То, что происходило во мне, откладывалось внутри, но у мозга не оставалось времени это обдумать. Из этого комплекса переживаний, впечатлений, ощущений и невысказанных слов в голове складывались вопросы, которые требовали ответа. А все многочисленные ответы выливались в один, в ответ на главный вопрос: что же произошло и какова моя роль в происшедшем?

То, что я оказался в Москве, — наполовину заложником, наполовину правительственным гостем, — логическое следствие всей моей жизни и политической деятельности. Я сам участвовал в создании такой ситуации. Собственно говоря, она — следствие не 20 августа 1968 года, а 25 февраля 1948 года.[7] Потому что именно тогда я безоговорочно, по собственному решению и убеждению примкнул к тем, кто в свою очередь безоговорочно, по собственному решению "на вечные времена" подчинились Москве и ее целям. Сейчас уже не важно, почему я так поступил, почему так поступили другие, были ли намерения и идеалы, которые вели нас к этому, благими. Но так случилось. Выбор сделал я сам. Правда, вот уже больше десятка лет я знал, что Москва — это рассадник уголовщины. Я не хочу оставаться ее прислужником. Но что же я делаю? Я пытаюсь изменить положение у нас, в Чехословакии, но почему-то надеюсь, что Москва искренне согласится покончить с уголовщиной. Я надеюсь получить разрешение Москвы на реформы дома. У меня есть некоторые доводы, чтобы так думать. Однако уже много лет существуют веские доводы думать совершенно иначе. Я либо недооценил, либо не учел их. Они не соответствовали моим концепциям коммунистического реформизма.

Случившееся неделю назад полностью соответствовало логике вещей. Москва решила приостановить экспериментирование с коммунистическими реформами, которое показалось ей чересчур опасным, угрожающим ее собственным интересам. Кремль вправе поставить меня перед судом, вправе спросить: "Так что, ты все еще с нами "на вечные времена"? Ведь ты же сам это твердил целых двадцать лет!" Москва хочет слышать либо "да", либо "нет". Подробности ее не интересуют. Она требует определенного ответа и от меня, и от остальных. Кто оказался здесь в двусмысленной роли заложников и членов правительственной делегации одновременно.

Собственно, старый генерал Свобода был прав, когда ругал нас и требовал, чтобы мы взглянули прямо в глаза правде. Он понял ситуацию и потому отвечает Москве недвусмысленным "да". Свобода требует, чтобы так же поступили и остальные, а кто не хочет, пусть скажет "нет", но перестанет тянуть время, заниматься проволочками. Мы несколько ошарашены тем, что советское политбюро повело себя, как банда гангстеров. Но разве

мы сами не виноваты? Кадар спрашивал Дубчека: "Неужели вы не знаете, с кем имеете дело?" Кадару казалось невозможным, чтобы Дубчек этого не знал. Мы оказались в дураках потому, что окутали свою глупость идеологией коммунистического реформизма.

У меня затекла нога — я долго стоял, опираясь о подоконник; я сел на него и продолжал смотреть в сад. Из тени вышел человек в штатском, его профессия не вызывает сомнений; он подходит к окну и задает тот же вопрос, что и девушка: "Вам что-нибудь нужно, товарищ?" — "Нет", — говорю я ему, схожу с подоконника и ложусь на кровать. Этот человек в саду — еще одно свидетельство, что в Москве все предусмотрели. Может быть, он стоит там, чтобы помешать мне выброситься из окна, если бы я решил таким способом уклониться от прямого ответа. Может быть, стоит ему свистнуть — прибегут другие сотрудники КГБ: окно невысоко, меня бы подхватили внизу без труда, я даже ногу бы не сломал.

Уже почти шесть утра, а в девять в Кремле снова начнутся переговоры. Я думаю о советском ультиматуме. Я знаю, что он будет подписан, что подписи под ним — тоже логическое заключение всей прошлой жизни. Не подписать — значит, начать новую, совершенно иную жизнь. Способен я на это? Не только способен, но и должен.

Ведь все мои прошлые политические поступки, в том числе и последний этап, этап реформы, завершились катастрофой. Благие намерения никого не интересуют, уже Данте знал, что ими вымощена дорога в ад. Я решаю не подписывать. Усталость побеждает, я засыпаю.

К девяти мы собрались в Кремле. О том, что я протокол не подпишу, сообщаю Чернику и Биляку как представителю промосковской группировки — пусть все знают. Я рассказал о своем плане: пойду к знакомому доктору, скажусь больным и на совместную встречу двух политбюро не приду. Пойти и не подписать — значило бы вызвать скандал. Этого я хотел бы избежать. Я не хотел оказывать давление на тех, кто решил иначе; но подписывать я не собираюсь. Биляк пробормотал, что я волен поступать, как мне угодно, но в восторге он явно не был, вид у него был хмурый, неприветливый. Черник привел Шпачека. Потом я говорил наедине со Смрковским и Шимоном. Я решаю подписать.

Почему? Все четверо признались, что пережили то же самое, когда их превратили из заключенных узников в членов правительственной делегации. Тогда все они почувствовали, что не могут с полной ответственностью действовать так, будто ничего не случилось. И все же все они, в конце концов, передумали. Они поняли, что отказ от подписи решит их личную проблему, но не политическую проблему страны, что на их плечах лежит бремя, которое они не могут просто сбросить. Более того, аргументы, которые я приводил накануне, укрепили их уверенность, что компромисс — совсем не безнадежное дело, что в Чехословакии все еще есть возможность создать лучшие и более перспективные условия, чем в Венгрии после интервенции 1956 года. Разумеется, я могу выбирать, как считаю правильным, но я должен помнить, что решаю не только свои личные проблемы, проблемы своей совести, но обязан думать и о политической перспективе. И если я выйду из рядов партийного руководства, это осложнит их положение, поставит под угрозу многое из того, что можно еще спасти. Кроме того, если я уклонюсь от подписи, создастся впечатление, что подписание протокола — это вопрос совести, вопрос чести каждого члена делегации в отдельности. В моем отказе будет осуждение тех, кто подписал, как предателей. В действительности же чехословацкая делегация была обязана найти выход из создавшегося положения, за которое ответственны мы все. Мне сказали также, что в заключительных переговорах будет участвовать Дубчек, что он намерен настаивать на некоторых пунктах, по которым договоренность еще не достигнута — главным образом на выводе из Чехословакии иностранных войск.

Ночь, когда я был наедине с самим сосбой, со своим прошлым, кончилась. Настал день, и опять я был с другими. Я попал в свою старую привычную роль; мой мозг работал, как запрограммированная машина. В глубине души я должен был признать верным, по крайней мере, один основной аргумент: политическая ответственность за все случившееся лежала и на мне. Отказавшись искать выхода, я уклонился бы от своей ответственности. И я снова, со всеми четырьмя, принялся подробно обсуждать конкретные возможности политического решения.

В момент, когда я согласился подписать протокол вместе с другими, политическая перспектива для Чехословакии представлялась мне так.

Как бы ни исправлять текст протокола, он даст Москве явные преимущества, возможность систематически давить на наших реформистов. Но, с другой стороны, и у нас появится возможность защищать политику КПЧ. Исход будет зависеть не от текста протокола, а от соотношения сил — как в Чехословакии, так и в Москве. Возвратившись в Прагу, мы сохраним ключевые позиции в своих руках. Невиданная сила всенародного сопротивления оккупации еще больше ослабит положение промосковских групп в структуре власти сверху донизу, несмотря на то что именно эти силы Москва пытается взять под защиту. Представители промосковских групп попадут на менее значительные должности. Но, самое главное, можно добиться, чтобы советские войска ушли из Чехословакии не позже декабря. Исключение можно сделать для небольшого количества воинских частей, размещения которых на территории Чехословакии Москва добивается уже два года. К тому времени необходимо будет снова созвать XIV съезд партии и избрать новый Центральный Комитет. Все это осуществить возможно, поскольку в Москве — в связи с международным возмущением по поводу оккупации Чехословакии — будут заинтересованы смягчить общественное мнение. Весьма вероятно также, что "ястребы" в московском политбюро несколько умерят свой пыл.

Все это, конечно, возможно, но не наверняка. Если же к концу года станет ясно, что события развиваются в другом направлении, что политикам-реформистам не удалось сохранить свои позиции, все еще останется другой выход: представители политики реформ смогут подать в отставку, назначив предварительно своих преемников. Тем самым будет предотвращен приход к власти "революционного рабочего-крестьянского правительства", то есть захват власти в Чехословакии советской агентурой. Москва должна бы согласиться на этот вариант: ведь тем самым она добилась бы отхода Дубчека от дел. Что же касается Биляка и Йиндры, то они успели настолько скомпрометировать московское руководство, что оно не будет особенно против "третьего варианта". Новые руководители Чехословакии будут несколько лет проводить политику "кадаризации", а затем настанет время для нового периода реформ. Но, чтобы это осуществилось, надо было сохранить состав КПЧ, который склоняется к линии реформ. Иначе верх в партии возьмут агенты Москвы.

Успех этого плана целиком зависел от сплоченности реформистов вокруг Дубчека. Мы обещали друг другу этой сплоченности не нарушать. У меня никогда не было особых иллюзий насчет отношений между людьми внутри партийного аппарата. Всего несколько лет назад товарищи посылали друг друга на смерть. В партии всегда были интриги, и прошла всего неделя с тех пор, как часть руководства была арестована с согласия своих коллег. Но тогда речь шла не об этих коллегах по руководству КПЧ, но о касте аппаратчиков-бюрократов. Соратники Дубчека столько пережили в те дни, что я внезапно поверил в возможность прочных отношений даже в политике, отношений, которые основывались бы на личном доверии, на чести и совести, на выполнении данных обещаний, на честном слове. Однако не прошло и двух месяцев, как испарилась и эта иллюзия. Иллюзорным оказался и расчет, что Кремль захочет умиротворения. Напротив, Москва и на этот раз была заинтересована лишь в последовательном, — пусть и постепенном, — достижении поставленной цели.

Все-таки могут спросить, как это мы, все еще оставаясь в Кремле в положении заложников, в плену у гангстеров, могли всерьез надеяться, что с течением времени Москва сама согласится разрядить напряженность в Чехословакии, а не громить все неугодные ей политические силы? Ответа, по крайней мере, два: нам очень этого хотелось, а потому мы убеждали себя, что это возможно; кроме того, мы все еще веровали в коммунизм. Таково объяснение, но оправдания — ни политического, ни морального — нашему поведению нет.

Около полудня я заявил, что передумал и подпишу протокол вместе с остальными. Ольдржих Черник обнял меня, он был искренне рад. Радость его была эгоистична, — теперь уже никто не поступит иначе, уже нет никого, кто потом мог бы сказать: "А я не подписал!" Впрочем, радость оказалась преждевременной, ее вскоре омрачил Франтишек Кригель.

Мы еще накануне спрашивали, почему Кригеля нет среди нас. Встречаясь с отдельными членами руководства КПЧ, советская сторона придумывала всяческие отговорки. Она старалась изолировать Кригеля от остальных. Но, когда дело дошло до подписания протокола, оттягивать дальше было невозможно. Кригеля привезли в Кремль. Первым с ним говорил в отдельной

комнате Смрковский. Потом, после обеда, Кригель присоединился к остальным. Унизительно было его положение, а наше — постыдно. Каковы бы ни были причины и отговорки, но мы обсуждали документ в отсутствие Кригеля, а потом поставили его перед готовым решением: подписать протокол необходимо. Франтишек Кригель категорически отказался. Конечно, все мы вначале вели себя также, а для него это было только начало, которое мы миновали еще вчера. Но. Кригель остался при первом своем решении, настаивая, что не подпишет.

Мы старались его убедить. Людвик Свобода специально для Кригеля повторил свой вчерашний спектакль. Он кричал так, что Кригель не выдержал и оборвал его. Свобода замолчал. Помню, Кригель сказал: "Что они могут мне сделать? Сослать в Сибирь? Расстрелять? Я учел и такую возможность, но подписывать из-за этого не намерен". Политические мотивы компромисса он обсуждать отказывался. Он почти не слушал. Он даже не выглядел политиком. В тот момент это был человек, которому разбойники угрожают смертью, а в качестве выкупа требуют не денег, а честь, детей или жену. Такой человек говорит: "Нет, лучше убейте!" Я думаю, что Кригель, которого последние три дня все еще держали в изоляции как заключенного, решил, что его приговорили к смерти, и смирился с этим. Он не хотел в последние минуты замарать всю свою жизнь и поступить вразрез с совестью. Я говорю это не для того, чтобы преуменьшить значение поступка Кригеля. Просто я так понимаю причины этого поступка. В те минуты Кригель повел себя прежде всего как человек, а не как политик. И, как подтвердило будущее, его поведение гораздо точнее отвечало ситуации, чем наше: нас ведь действительно шантажировали гангстеры, но мы тешили себя иллюзией, будто мы все еще политики, с которыми ведут переговоры политики другой страны.

Франтишек Кригель сказал, что не намерен участвовать в переговорах с советским пюлитбюро. Его увели снова. Но советская сторона еще некоторое время настаивала на привлечении Кригеля к переговорам. По всей видимости, режиссер преднамеренно хотел довести до открытого разрыва членов чехословацкой делегации с Кригелем в присутствии советского политбюро. Дубчек на это не согласился, переговоры проходили в отсутствие Кригеля. Для сохранения некоторой симметрии, не

участвовал в них и Йиндра. Наконец, чехословацкая делегация, — на этот раз вместе с Дубчеком, — разместилась вдоль одной стороны стола, а напротив расположилось советское политбюро.

Переговоры начались перед наступлением вечера, открыл заседание Брежнев. Не краснея, непринужденным тоном он декламировал фразы о товарищеских отношениях и общих интересах, из которых мы вот сейчас будем исходить, чтобы достичь соглашения о дальнейших действиях в создавшейся сложной и серьезной обстановке. Он говорил о том, с каким сожалением, с какой сердечной болью приняло советское руководство решение о военном вмешательстве. Но иначе оно поступить не могло, так как интересы социализма — превыше всего. Брежнев хвалил государственный ум Людвика Свободы, верного друга Советского Союза и героя Второй мировой войны; он объяснялся в любви к Чехословакии. Он сам умилялся своим речам.

По сценарию с подобной же речью должен был выступить и представитель чехословацкой стороны. Потом делегации должны были перейти к обсуждению отдельных абзацев проекта протокола. Но Дубчек все еще чувствовал себя неважно. Перед самым заседанием врач сделал ему несколько уколов. Поэтому с ответным словом выступил Черник. Он говорил в основном по существу, избегая болтовни о товариществе и вечной дружбе. Черник очень осторожно защищал Программу действий КПЧ и между строк осудил военное вмешательство.

На это ответил кто-то из советского политбюро. Атмосфера снова накалялась. Не соглашаясь с чем-то в выступлении Черника, Брежнев его перебил. Настала напряженная пауза. Черник кончил, слова попросил Дубчек — или, кажется, он просто, без процедурных церемоний начал говорить. Вначале он слегка заикался, не мог правильно произнести некоторые слова, но постепенно овладел собой и закончил плавно. Он говорил по-русски. Это была прочувственная, вдохновенная защита "процесса возрождения" в Чехословакии, которая местами переходила в полемику, в обвинение интервентов. Дубчек импровизировал. Он говорил что думал, потому его выступление — и по содержанию, и по форме — произвело впечатление.

С ответом Дубчеку сразу же выступил Брежнев. На этот раз он тоже импровизировал. Кажется, это было единственное, по-

настоящему содержательное выступление с советской стороны за все время переговоров: Брежнев тоже говорил, что действительно думал. Он коротко и ясно ответил на три основных вопроса: что больше всего раздражало Москву в "Пражской весне", как понимает Москва суверенитет государства, что она считает самым важным в международной политике.

Брежнев больше не говорил ни о "контрреволюционных силах", ни об "интересах социализма". Он прямо и четко обвинил Дубчека в том, что тот проводил внутреннюю политику Чехословакии без предварительного одобрения и утверждения Брежнева, и, еще хуже, даже не считаясь с его указаниями и советами. "Я ведь тебе с самого начала хотел помочь бороться против Новотного, — говорил Брежнев Дубчеку, — и еще тогда, в январе, спрашивал тебя: не угрожают ли тебе люди Новотного? хочешь ли их сменить? хочешь заменить министра внутренних дел? или министра национальной обороны? кого хочешь еще сменить? Но ты говорил, что не хочешь, что все они — хорошие товарищи. А позже я вдруг узнаю, что ты назначил нового министра внутренних дел, нового министра обороны и других новых министров, что ты сменил секретарей Центрального Комитета".

"Еще в январе я сделал несколько замечаний к твоему выступлению, — продолжал Брежнев, — я обратил твое внимание на то, что некоторые формулировки неверны. А ты их оставил! Да разве можно так работать! Ведь у нас даже я, подготовив доклад, даю его всем членам политбюро, чтобы они высказались. Верно я говорю, товарищи? — задал Брежнев риторический вопрос, окинув взглядом политбюро, которое разместилось по обеим сторонам от него. Все закивали в знак согласия, забормотали, подтверждая сказанное начальником. — У нас — коллективное руководство, — продолжал Брежнев, — а это значит, что свои взгляды каждый должен подчинять взглядам других".

Брежнев был искренне возмущен тем, что Дубчек не оправдал его доверия, не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. "Я тебе верил, я тебя защищал перед другими, — упрекал он Дубчека. — Я говорил, что наш Саша все-таки хороший товарищ. А ты нас всех так подвел!" Во время подобных пассажей голос Брежнева дрожал от жалости к себе; он говорил, заикаясь, со слезами в голосе. Он выглядел обиженным племенным вождем, который считает само собой разумеющимся и единственно правильным, что его положение главы племени покоится на безоговорочном подчинении и послушании, что только его мнение и только его воля — последняя инстанция, ибо только он печется о благе всех. Сама идея, что действительность может или должна была бы быть иной, ему чужда. В независимом поведении он усматривал враждебность и измену.

И вот от этого смертного греха, — то есть из того, что в Праге не всегда спрашивали согласия Кремля, — рождались, по мнению Брежнева, все остальные грехи: бурное развитие "антисоциалистических тенденций"; печать публикует все, что хочет; возникают "контрреволюционные организации", а руководство КПЧ под давлением всех этих сил постоянно отступает. Если бы Дубчек все делал с согласия и по совету Брежнева, если бы он вычеркнул из своих выступлений слова, которые Брежнев рекомендовал вычеркнуть, если бы он назначал министров и секретарей, которых Брежнев бы утвердил, ничего подобного в Чехословакии бы не случилось. Такова, вкратце была оценка Брежневым "Пражской весны".

Брежнев разъяснил Дубчеку, что Москве стало наконец ясно, что на его, Дубчека, руководство КПЧ положиться нельзя. И он сам, долго защищавший "нашего Сашу", вынужден был это признать. Потому что речь шла уже о совершенно ином и самом важном — об итогах Второй мировой войны.

Брежнев долго и подробно говорил о жертвах Советского Союза, о погибших солдатах и гражданах, об огромных материальных потерях и страданиях советских людей во время войны. Этой ценой обеспечил Советский Союз свою безопасность, гарантия которой — послевоенный раздел Европы, как, в частности, и то, что Чехословакия связана с СССР "на вечные времена". По мнению Брежнева, это логично и справедливо, ибо тысячи советских солдат отдали жизни за наше освобождение, и их могилы наш народ обязан уважать, а не оскорблять. Наши западные границы — это не просто наши границы, это — общие границы "лагеря социализма". Советское политбюро не имеет права рисковать достижениями последней войны, так как это было бы надругательством над памятью о жертвах, которые понес советский народ.

Брежнев признавал, что сейчас, после военной интервенции, обстановка в Чехословакии сложная: люди относятся к событи-

ям эмоционально. Он даже извинял партийное руководство Чехословакии во главе с Дубчеком, которое, по его мнению, продолжает неправильно оценивать положение. "Сегодня вам кажется невозможным согласиться с нашими действиями, — сказал Брежнев. — Но посмотрите на Гомулку. В 1956 году он, как и вы теперь, был против того, чтобы наши войска помогли Польше. Но если я сегодня заявлю, что отзываю из Польши советские войска, Гомулка сядет на самолет, прилетит сюда, чтобы просить меня этого не делать".

Брежнев даже и не пытался доказывать, будто "западные империалисты" угрожают ЧССР. Он не повторил ни одного из официальных ложных сообщений, которыми в то время кишела советская печать: что "западногерманские реваншисты" уже готовят военное нападение, что в Праге полно американских офицеров, которые выдают себя за туристов, и т.д. Логика Брежнева была проста: Мы, в Кремле, поняли, что на вас положиться нельзя. Во внутренней политике вы делаете что хотите. При этом ваша страна лежит на территории, на которую во время Второй мировой войны ступила нога советского солдата. Мы заплатили за нее огромными жертвами и уходить не собираемся. Границы этой территории — и наши границы. А вы нас не слушаетесь. В этом мы видим угрозу нашим интересам. Память о погибших во Второй мировой войне, которые отдали свою жизнь и за вашу свободу, дает нам полное право послать к вам своих солдат. Мы завоевали право чувствовать себя в безопасности в наших общих границах. Не существенно, угрожает ли нам кто-либо. Речь идет о принципе, суть которого не меняется в зависимости от внешних обстоятельств. Он утвержден "на вечные времена".

Брежнев не только возмущался, он был удивлен: ведь это же так просто, как вы не понимаете? Таких слов, как суверенитет, национальная и государственная независимость, он даже не произносил. Он не повторял и дежурные фразы насчет "общих интересов социалистических стран". В его монологе содержалась одна простая идея: наши солдаты дошли до Эльбы, а потому сейчас там наша, советская граница.

"Результаты Второй мирово й войны, — продолжал Брежнев, — для нас незыблемы, и мы будем их защищать даже ценой нового военного конфликта". Он совершенно недвусмысленно заявил, что военная интервенция в Чехословакии была бы предпринята даже в том случае, если бы из-за нее могла начаться Третья мировая война. К этому Брежнев добавил: "Впрочем, в настоящее время опасности военного конфликта нет. Я спросил президента Джонсона, признает ли сейчас американское правительство соглашения, подписанные в Ялте и Потсдаме. И 18 августа я получил ответ: в отношении Чехословакии и Румынии эти соглашения признаются полностью, что же касается Югославии, то об этом еще следует поговорить. Так что же, по вашему мнению, будет сделано в защиту Чехословакии? — Ничего. Война из-за вас не начнется. Выступят товарищи Тито и Чаушеску, выступит товарищ Берлингуэр. Ну и что? Вы рассчитываете на коммунистическое движение Западной Европы, но оно уже пятьдесят лет никого не волнует!"

И это тоже было просто и ясно. Нам, коммунистам-реформистам, Брежнев преподал воистину ценный урок: мы, дураки, рассуждаем о какой-то модели социализма, пригодной для Европы, — в том числе и для Западной, — а он, реалист, знал, что вот уже пятьдесят лет это никого не волнует. А почему? Да потому, что граница социализма, то есть граница СССР, — пока все еще проходит по Эльбе. И американский президент с этим согласен, так что, вероятно, ничего не изменится еще лет пятьдесят.

А кто такой Берлингуэр? Разве у него есть танки? Разве может он изменить итоги Второй мировой войны?

Брежнев, вероятно, ожидал, что после такого ясного, реалистического разъяснения, Дубчек поймет ситуацию, и можно будет приступить к обсуждению протокола, которое завершится его торжественным подписанием. Но случилось другое. Дубчек стал возражать, — не помню уже, по какому конкретно вопросу. Он сказал что-то, что вывело Брежнева из себя. Он перебил Дубчека, начал кричать, лицо его стало красным. Наконец, Брежнев произнес сердито: "Все ваши предшествующие переговоры были бессмысленны. Все повторяется, как в Чиерне на Тиссе. Говорить больше не о чем". Брежнев заявил, что прекращает переговоры.

Брежнев, а за ним и все остальные члены советского политбюро, встали, собираясь уйти. В наступившей сумятице начал говорить Людвик Свобода. Он опять хотел утихомирить бурю. Брежнев остановился, выслушал, потом снова повернулся к выходу, добавив, что надо обсудить дальнейший порядок дейст-

вий. Он вышел в сопровождении всего советского "коллективного руководства", покидавшего зал гуськом.

Я и теперь не уверен, было ли это случайностью. И тогда у меня создалось впечатление, что нам показали заранее запланированный спектакль. Реакция Брежнева и его приказ прекратить переговоры совершенно не соответствовали обстановке. Я даже не запомнил слов Дубчека, которые послужили поводом брежневского гнева, а потому думаю, что Дубчек не сказал ничего такого, чего не говорил и раньше. Дальнейший ход переговоров тоже подтвердил, что это был обдуманный шаг. Советское политбюро подготовляло обстановку для утверждения протокола. Ему было нужно, чтобы чехословацкие реформисты повели себя осторожно и свели неприятные советской стороне замечания до минимума. Но независимо от действительных причин этой сцены, она вызвала в зале панику.

У Дубчека снова начался нервный припадок. Он дрожал, говорил захлебываясь и бессвязно. Появились врачи со шприцами. Дубчек отталкивал их, не хотел никаких уколов и вдруг — к всеобщему изумлению — заявил: "А я не подпишу! Пусть делают со мной, что хотят — не подпишу!"

К нему подбежало несколько человек (среди них были Черник, Свобода и Смрковский); перебивая друг друга, они говорили, что это невозможно, что сейчас уже нельзя ничего переменить. Я тоже тогда думал, что так закончить переговоры нельзя. К тому же я был уверен, что поведение Дубчека обусловливалось его психическим состоянием; что через некоторое время он передумает. Я говорил с ним несколько минут, высказал это свое мнение. Мы говорили с ним по очереди, старались на него повлиять, чтобы переговоры возобновились. Дубчек слушал, но не отвечал и позиции своей не менял. "Да разве ты не видишь, ведь они совершенно не понимают, что наделали", — ответил он мне. И повторил: "Я не подпишу!" То было мгновение правды. Быть может, если бы Дубчек участвовал в совещании чехословацкой делегации прошлой ночью и занял такую же позицию, это существенно изменило бы ход переговоров в Москве. Но тогда уже было поздно. В конце концов он разрешил сделать ему успокоительный укол, а после второго тура уговоров сдался.

Но еще до того как Дубчек сдался, обе стороны пытались возобновить переговоры. Свобода, Черник и другие реформисты, а кроме них Биляк и Якеш, убегали из зала в какие-то комнаты, где они встречались с Сусловым, Пономаревым и другими. Наконец, Свобода был принят Брежневым, и они о чем-то договорились. Перерыв длился около часа. Когда переговоры возобновились, был уже поздний вечер.

Дальнейший их ход уже не был столь драматичен. Абзац за абзацем обсуждался текст протокола. Советская сторона стала уступчивей. Не могу припомнить точно, какие именно поправки были внесены в протокол на этом последнем этапе. Однако в окончательном тексте остались два важных пункта. Во-первых, там говорилось, что после их "временного" пребывания войска уйдут, хотя отход этот был обусловлен прогрессом "нормализации". Кроме того, в протоколе говорилось, что советская сторона поддерживает политическую линию январского и майского пленумов КПЧ.

По этому пункту опять разгорелся диспут. Спор возник по поводу апрельского пленума, на котором была одобрена Программа действий КПЧ. Брежнев, — как и в Братиславе,*— возражал, якобы по соображениям стилистики, чтобы между словами "январский" и "майский" пленумы стояло тире. При такой формулировке включался и апрельский пленум. Наконец, Брежнев заявил откровенно: в программе действий есть некоторые положения, которые советское политбюро не считает правильными, а потому и не может согласиться с программой в целом. В конце концов, и нам, мол, должно быть ясно, что при создавшейся обстановке программу действий надо исправить. При этом, однако, советское политбюро полностью поддерживало резолюцию майского пленума, которая не только признает программу действий, но и называет ее основной линией партии. Правда, в этой резолюции говорится о враждебных социализму силах. На этом обсуждение закончилось.

---

* В конце июля 1968 года в г. Чиерна на Тиссе состоялась встреча политбюро КПЧ и политбюро КПСС. На этой встрече было принято решение созвать совещание в Братиславе (в начале августа 1968 года), на котором будет разработано совместное коммюнике о положении в Чехословакии. В совещании в Братиславе участвовали представители всех стран — членов Варшавского договора, кроме Румынии. Эти же страны, представленные в Братиславе, через две недели после совещания приняли участие в оккупации Чехословакии.

К полуночи все было готово, настал момент подписания. Неожиданно распахнулись двери и в зал ворвалось с десяток фотографов и операторов. Тут же, как по приказу, все члены советского политбюро встали и, наклоняясь через стол, пытались обнять сидевших напротив членов чехословацой делегации. Это напоминало театр абсурда: вспышки магния и протянутые над столом десятки рук членов советского политбюро. Казалось, какое-то фантастическое растение-мясоед хватает нас своими липкими щупальцами. Я не встал, не сделал встречного движения. Я оттолкнулся от ножки стола, и мое кресло, скользя по натертому полу, отъехало к стене. Я оказался возле посла Коуцкого, сидевшего вместе с теми, кто не поместился за столом. Глаза Коуцкого широко раскрылись от испуга. Он прошептал: "Ты с ума сошел!" Я кивнул головой в знак согласия, добавив, что обниматься с ними не могу и не хочу. Коллективное объятие у стола кончилось. Операторы и фотографы успели его увековечить.

Потом запечатлели главных представителей обеих сторон в момент подписания протокола. После этого так же неожиданно, как их впустили в зал, фотографов выпроводили, а двери закрыли. Я слышал, как Подгорный спросил: "А разве товарищ Млинарж не подпишет?" Значит, он заметил, как я увернулся от объятий. Да он и не мог не заметить, — ведь я сидел напротив него, ко мне он тянул руки. Начали оглядываться и остальные: что, собственно, со мной происходит? Я ответил, что подпишу, встал и собственноручно поставил свою фамилию под смертным приговором, вынесенным демократической реформе Чехословакии.

Как после каждого напряженного момента, — трагичного ли, или комичного, — наступила разрядка. Но продолжалась она недолго. Атмосфера снова накалилась, когда возник спор из-за Франтишека Кригеля. Этот эпизод напоминает уголовный роман из гангстерской жизни, хотя случился он в Кремле, после переговоров, которые, как утверждалось в коммюнике, проходили "в товарищеской и дружеской обстановке".

Когда обсуждались технические вопросы, связанные с отлетом в Прагу, кто-то заметил, что Кригеля нужно привезти в Кремль, так как он должен улететь вместе со всей делегацией. На это Брежнев ответил, что, возможно, было бы лучше, если бы Кригель не улетел в Прагу с нами. "Оставьте его пока здесь, — сказал Брежнев. — Он ведь не подписал протокола, и вам будет с ним неловко". Дубчек, — и, кажется, Свобода, — решительно сказали, что делегация вернется в Прагу в полном составе. Без Кригеля мы не уедем. Брежнев продолжал настаивать. Он говорил, что Кригель будет саботировать выполнение протокола и, ссылаясь на то, что он сам протокол не подписал, будет строить оппозицию силам, которые "стремятся к консолидации".

Думаю, что за этим скрывался какой-то замысел. Все мы вдруг вспомнили, что Кригель до сих пор в заключении, что он всего лишь заложник, а не член делегации, как мы. И сам Брежнев говорил о нем, как о заключенном, который к нам вроде и отношения не имеет. Людвик Свобода сказал, что по приезде в Прагу Франтишек Кригель и его жена будут в Ланах.[8] Брежнев, вероятно, подумал, что Свобода обещает посадить Кригеля в какую-то роскошную тюрьму. "Но он же может бежать! — сказал он. — Кто из вас может за него поручиться?"

Им нужен был не выкуп за заложника! Главарь банды попросту требовал заклад, — как в детективе. Шпачек, Шимон и я, не сговариваясь, сказали, что ручаемся за Кригеля. Но этого оказалось недостаточно. Началась закулисная торговля. Дубчек, Свобода, Черник и Смрковский вместе с руководством советского политбюро ушли в соседнюю комнату, и там, за закрытыми дверьми, они договорились. Если не ошибаюсь, и Якеш, используя свои связи, — вероятно, в органах, — пытался добиться освобождения Кригеля. Соглашение было постыдное, для Кригеля. — унизительное. Пленника доставят прямо на аэродром, так как в Кремле ему не место.

Кремлевские руководители предложили собраться перед нашим отлетом — на этот раз, не формально, по-дружески. Косыгин, которому развеселое поведение явно не шло, принялся шутить, вспоминая старый русский обычай, согласно которому гости не могут уехать, не присев перед дорогой, не выпив "посошка". Когда-то я читал про обычаи одного из монгольских племен. Там особо милые сердцу пленники приковывались цепями к юртам: а в их босые ноги вонзали конский волос, который постепенно врастал в кожу. Этот волос как будто бы и не мешал пленнику — если, конечно, он не вставал на ноги, не пытался бежать. Обычай задерживать милых гостей, о котором говорил Косыгин, был, конечно, гуманнее. Мы провели с хозяевами еще около часа.

Все разбились на группы — по два-три человека в каждой. Ко мне подошел Косыгин и после нескольких ни к чему не обя-

зывающих слов спросил, считаю ли я реальным осуществление протокола, какие трудности могут встретиться и как я смотрю на некоторые персональные проблемы. По ходу разговора он еще и еще возвращался к вопросам кадров. Я догадался, что он меня прощупывает. Этот способ надежнее и проще политико-идеологических дебатов. Косыгину важно было не то, что я думаю о "социализме с человеческим лицом", а то, что я думаю о Чернике, Гусаке или Йиндре.

Я ответил откровенно, что если московское политбюро и дальше будет ориентироваться на людей, из которых в августе предполагалось сформировать "революционное правительство", — в их числе я назвал Биляка и Йиндру, — это кончится катастрофой. "Ну, эти...", — произнес Косыгин и презрительно махнул рукой. И тут же отозвался с похвалой о Гусаке. Вероятно, он хотел намекнуть, на кого они будут ориентироваться. Не возражал Косыгин и против того, что главное — воспрепятствовать победе крайних тенденций. Я ему сказал, что отставка Кригеля, Цисаржа, Павела, Гайека и других возможна лишь при том условии, что одновременно уйдут в отставку те, кто полностью скомпрометировал себя в августе. Тогда мне показалось, что Косыгин, как и мы, заинтересован в быстрой разрядке напряженности в Чехословакии.

На следующий день, уже в Праге, Дубчек сообщил нам, что в качестве условия сохранения добрых отношений с СССР в будущем Брежнев потребовал оставить за Биляком и Йиндрой их партийные должности.

Брежнев и остальные члены советского политбюро поехали с нами на аэродром. Это были официальные проводы, снова с фотографами и операторами. В ожидавшем нас самолете находился Франтишек Кригель. 27 августа 1968 года, около двух часов утра по московскому времени наш самолет поднялся в воздух. Мы снова молчали, но на этот раз причина была другая. Каждый думал о том, как встретят "московский протокол" дома. И думаю, что предвидения были у всех далеко не розовыми.

Роли, которые нужно было сыграть после прилета, распределили заранее. Первым публично выступит Свобода, за ним — Дубчек. Утром Черник встретится с правительством, а Смрковский — с парламентом. Дубчек сразу после прибытия в Прагу обсудит положение с политбюро, избранным на съезде в Высочанах. А так как после обеда он должен выступить перед народом, нужно подготовить для него текст выступления. И, как и прежде, до оккупации, это задание поручается Млинаржу и Шимону. Мы сидим в самолете и пишем. Это наши последние спокойные часы. Думаю, что эта речь Дубчека была самой значительной из всех, когда-либо мной написанных. Дубчек немного поправил и дополнил ее — сначала на бумаге, а потом и по ходу выступления. Эта речь Дубчека стала самой известной. Огромную политическую роль сыграли тогда не только слова, но и сдерживаемые Дубчеком слезы. Этой речью Дубчеку удалось невозможное: народ опять поверил, что еще не все потеряно, что еще жива надежда и что Дубчек осуществит ее.

Перевод с чешского Ларисы Силницкой

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Речь идет о 14 чрезвычайном съезде КПЧ. История его такова: 1 июня 1968 года Пленарное заседание ЦК КПЧ постановило созвать на 9 сентября 1968 года Чрезвычайный 14-й съезд. (Очередной съезд должен был состояться в 1970 г.) На этом чрезвычайном съезде предполагалось определить политическую линию партии, и избрать новый Центральный комитет. Созыв чрезвычайного съезда был одним из важнейших политических решений, принятых в период "Пражской весны". В июне и июле были проведены районные и областные партконференции, на которых избрали делегатов на 14-й съезд. На этих же конференциях проходило обсуждение проекта нового устава партии. Не было сомнения, что съезд одобрит реформы 1968 года. И для того чтобы воспрепятствовать этому съезду, оккупация произошла в конце августа 1968 года. После вторжения в Прагу представители советских вооруженных сил арестовали руководителей чехословацкого государства и КПЧ: Дубчека — генерального секретаря партии, Черника — председателя правительства, Смрковского — председателя Чехословацкого национального собрания (парламента); Кригеля — председателя Национального фронта и других. Их увезли в СССР и пытались создать в Чехословакии марионеточное, т.н. рабоче-крестьянское правительство и "революционный трибунал".

После оккупации чехословацкое радио передало сообщение, что делегаты съезда должны собраться в Праге. Делегаты приезжали в Прагу, как могли, так как общественный транспорт в то время почти не действовал. Место работы съезда было засекречено. Делегаты приходили на пражские заводы, и рабочие отводили их в помещение съезда, в одном из крупнейших пражских заводов в Высочанах (Высочаны — это промышленный район Праги). Состоялся съезд 22 августа 1968 года. В работе съезда участвовало 1.290 человек, то есть более двух третей избранных на 14-й съезд делегатов, так что в соответствии с Уставом партии его решения были законными. Значение 14-го съезда исключительно велико, в первую очередь потому, что он воспрепятствовал осуществлению планов советского руководства и фактически спас жизнь арестованным и увезенным в Москву руководителям Чехословакии.

2 Командование советской армии попыталось создать в Чехословакии революционное рабоче-крестьянское правительство, которое одобрило бы оккупацию страны и от имени которого действовал бы революционный трибунал. Эта попытка провалилась, так как в то время оккупантам не удалось найти достаточное количество людей, готовых в такое правительство войти.

3 Чиерна на Тиссе — чехословацкий городок на границе с Западной Украиной. С 29 июля по 1 августа 1968 года в этом городке состоялась встреча между политбюро КПЧ и политбюро КПСС. На ней обсуждалось внутриполитическое положение Чехословакии и отношения между КПЧ и КПСС.

4 "Первая Чехословацкая республика" — так называется независимое чехословацкое государство, созданное 28 октября 1918 года после распада Австро-Венгерской империи. Позже, в 1938 году, вследствие Мюнхенского соглашения между фашистской Германией и Италией — с одной стороны, и Францией и Англией — с другой, от Чехословакии были отрезаны пограничные (судетские) области. В мюнхенских переговорах представители Чехословакии не участвовали. Мюнхенский диктат положил конец Первой республике, после чего начался короткий период т.н. Второй республики , продолжавшийся до 15 марта 1939 года — дня вторжения немецких войск на территорию Чехии и Моравии. Словакия же в то время образовала самостоятельное пронемецкое фашистское государство.

5 Т.Г. Масарик, 1850-1937, философ, журналист, политик — депутат австро-венгерского парламента. Автор многих книг, в том числе книги "Россия и Европа". Во время Первой мировой войны стоял во главе движения за образование самостоятельного чехословацкого государства, после создания этого государства стал его первым президентом.

6 Эмиль Гаха (1872-1945) был избран президентом чехословацкого государства 30 ноября 1938 года — после ухода в отставку президента Бенина. В ночь с 14 на 15 марта 1939 года Гаха (в то время очень больной человек) подписал в Берлине документ о создании на территории Чехия и Моравии немецкого протектората. До конца Второй мировой войны он был президентом Протектората. После окончания войны Гаха был арестован. Он умер до суда.

7 В феврале 1948 года КПЧ захватила монопольную власть в стране. Чехословацкое демократическое плюралистическое государство перестало существовать. С того момента в Чехословакии начинается строительство социализма "по советскому образцу".

8 Ланы — замок неподалеку от Праги, место отдыха чехословацких президентов. В Ланах похоронен первый президент Чехословакии Т.Г. Масарик.

КОМАР, МЕЛАМИД И ИОСИФ СТАЛИН

Место действия: кабинет Сталина. На письменном столе традиционная под зеленым абажуром лампа, тут же знаменитая сталинская трубка, рядом — свернутые рулоном бумаги — может, чертежи, может, проекты самых гуманных в мире законов, а может, и гениальный труд по языкознанию. Дополняют интерьер красные декоративные драпировки.

Персонажи: сам Иосиф Виссарионович и четыре музы. Иосиф Виссарионович при полном параде — в мундире и в шикарной подбитой зеленой подкладкой шинели; изображен в свой полный портретный рост. Улыбается в усы своей портретной доброй и мудрой улыбкой.

Музы, как и полагается музам, — в легких одеждах с полуобнаженными или полуприкрытыми грудями.

Сюжет: Почтительно склонившись, музы подносят Сталину книгу...

Постановщики, декораторы, оформители и создатели этого спектакля-картины Виталий Комар и Алик Меламид.

Но что, собственно, хотели сказать авторы? Что это? Очередное прославление Сталина? Возрождение культа личности? Или это насмешка над ним? Вот если бы художники не намекнули на божественное происхождение Сталина, а представили бы его Аполлоном, в приличествующей богу искусства одежде, то есть заменили бы военный мундир фиговым листком, тогда бы сразу стало ясно, что это сатира, картина бы получила остро гротескный характер. А сейчас вряд ли ее можно назвать сатирической в строгом смысле этого слова. "Сатира, — гласит современный словарь, — это жестокое, бичующее, издевательское обличение людских пороков и недостатков общественной жизни". Да и Даль говорит, что сатира — это насмешливое осмеяние слабости и порока. Но где же тут порок? Где слабость?

Не стоит искать осмеянные пороки и слабости в полотнах Комара и Меламида. Они за их пределами. Порок, над которым смеются художники, — это помпезный стиль, к которому тяготеет парадный портрет партийного деятеля, крупного военного или главы государства, то есть лучших,с официальной точки зрения людей страны.

Совсем недавно Илья Глазунов написал, например, портрет Брежнева именно в таком помпезно-парадном стиле, принятом в XIX веке. И его Брежневу, изображенному на фоне красных драпировок, — вельможному и величественному — не хватает только перстней и брабантских манжет.

Вожди, передовики труда, большевики, снова вожди... и лозунги, лозунги, лозунги. Повторенные сотни раз они теряют смысл, перестают восприниматься даже тогда, когда используются комично, Я вспоминаю Ленинград в 100-летний юбилей Ленина. В витрине винного магазина среди бутылок лозунг: "Здесь каждый камень Ленина знает". Другой магазин: "Аптекарские товары", а ниже на красном полотнище — белыми буквами: "Ленин жил, Ленин жив..."

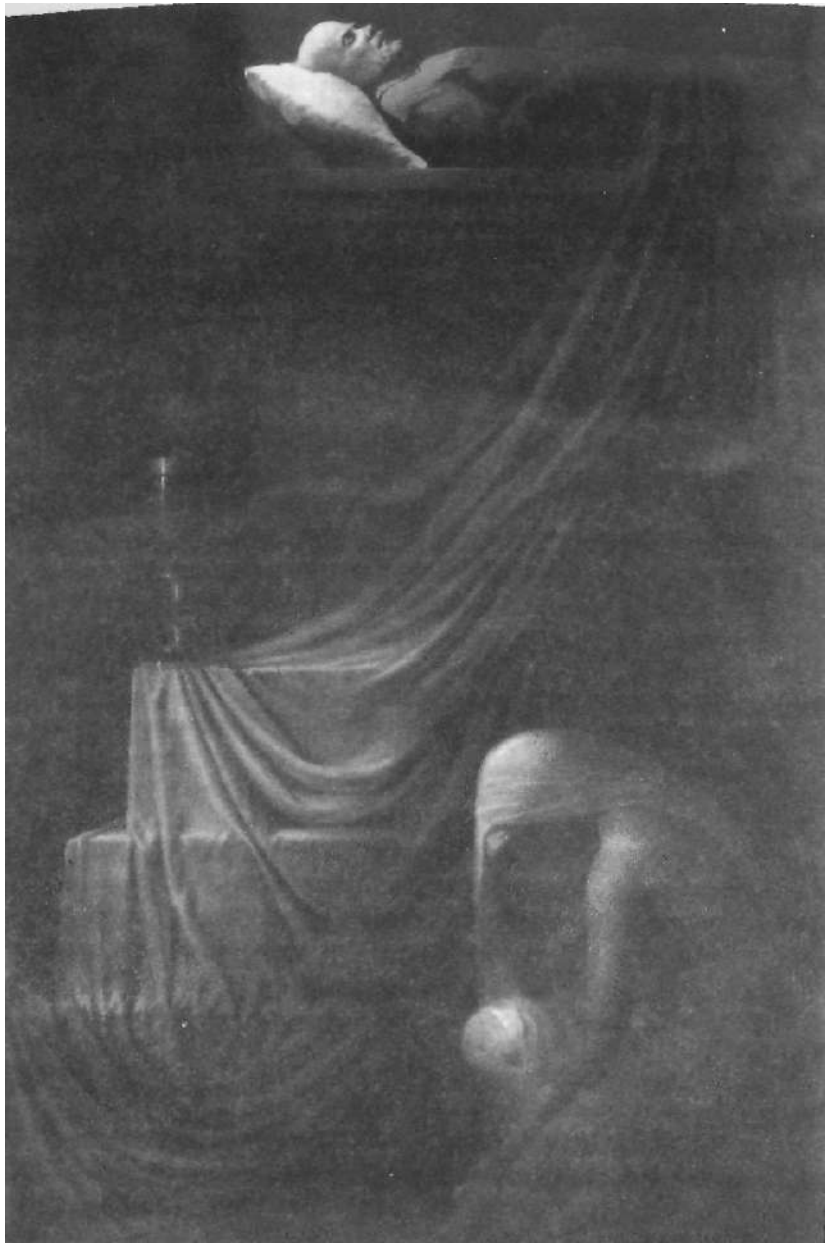
Этот лозунг служит названием другой картины Комара и Меламида. Мертвый Ленин лежит на пьедестале, к которому ведут ступени. У ступеней — коленопреклоненная женская фигура. Фигура цитатна — она взята из немецкого искусства эпохи Гитлера. На ступеньке колба — не современная — семнадцатого века. В ней, надо думать, элексир жизни в трех временах.

Еще один лозунг: "Вперед, к полной победе социализма во всем мире". В позе простого советского человека и со знаменем, где вместо серпа и молота полосы и звезды, простой американский джентльмен призывает к полной победе капитализма.

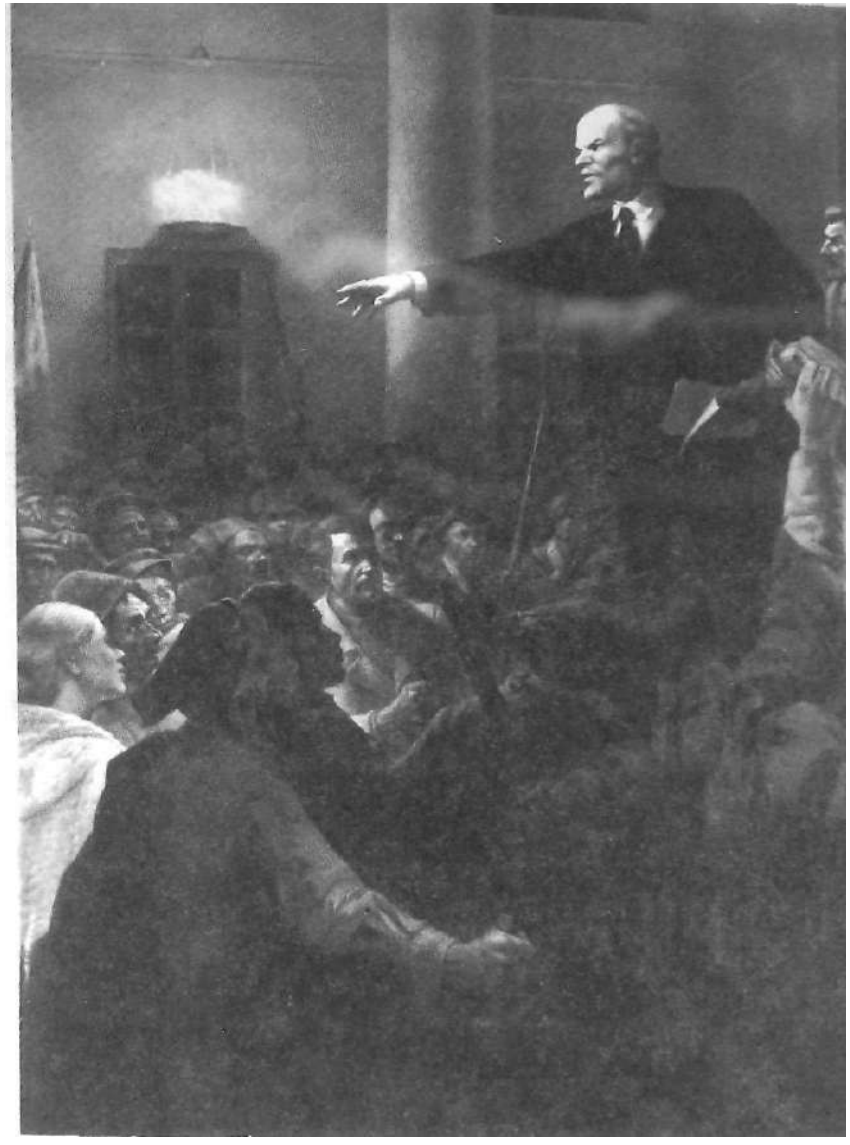
Проходя по выставке, все время встречаешься со знакомыми лицами. Вот Хрущев, Жуков, Молотов и Булганин проводят секретное совещание о снятии Берии. Тайное заседание проходит в старинном зале (посмотрите на пол, он скопирован с картины шестнадцатого века). Персонажей охраняет собака; она помещена на переднем плане, как это часто бывает у старых мастеров. И возникает мысль, что эти люди — заговорщики, собравшиеся произвести очередной дворцовый переворот, а вовсе не лидеры демократического правительства, любое из действий которого должно подлежать гласности.

Комар и Меламид рассчитывают на нестереотипное восприятие явлений, ставших для нас вполне стереотипными. Они подвергают насмешке то, что советские люди, даже при полном отрицании советской идеологии, насмешке подвергать не привыкли, и уж во всяком случае насмешке в живописи. Большие, выдержанные в красных торжественных тонах холсты, с гладкой и блестящей, как паркет, поверхностью, где не различишь ни мазка, ни следа кисти, зритель зачастую воспринимает всерьез. И сердится. Если же отключиться от серьезности, если принять право художников на литературный прием, называемый оксюморон, то есть на соединение двух понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое, то найдется и ключ к пониманию их творчества.

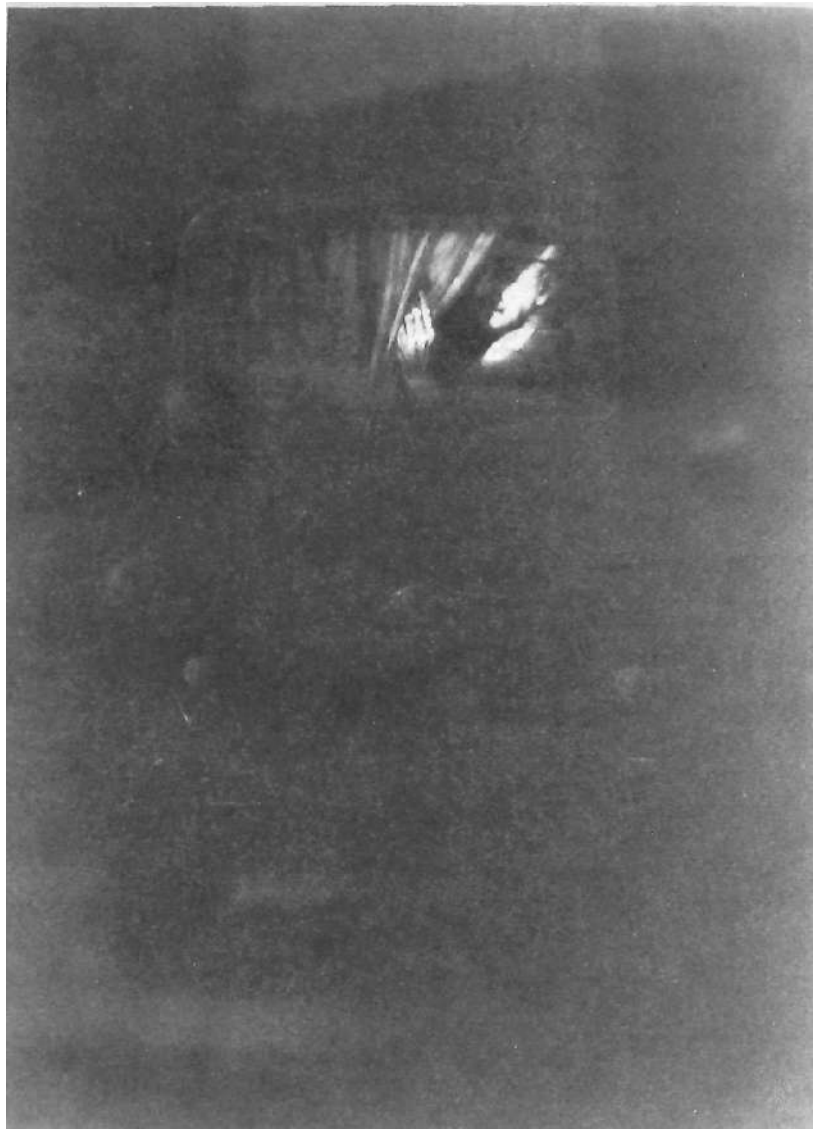
Ася КУНИК



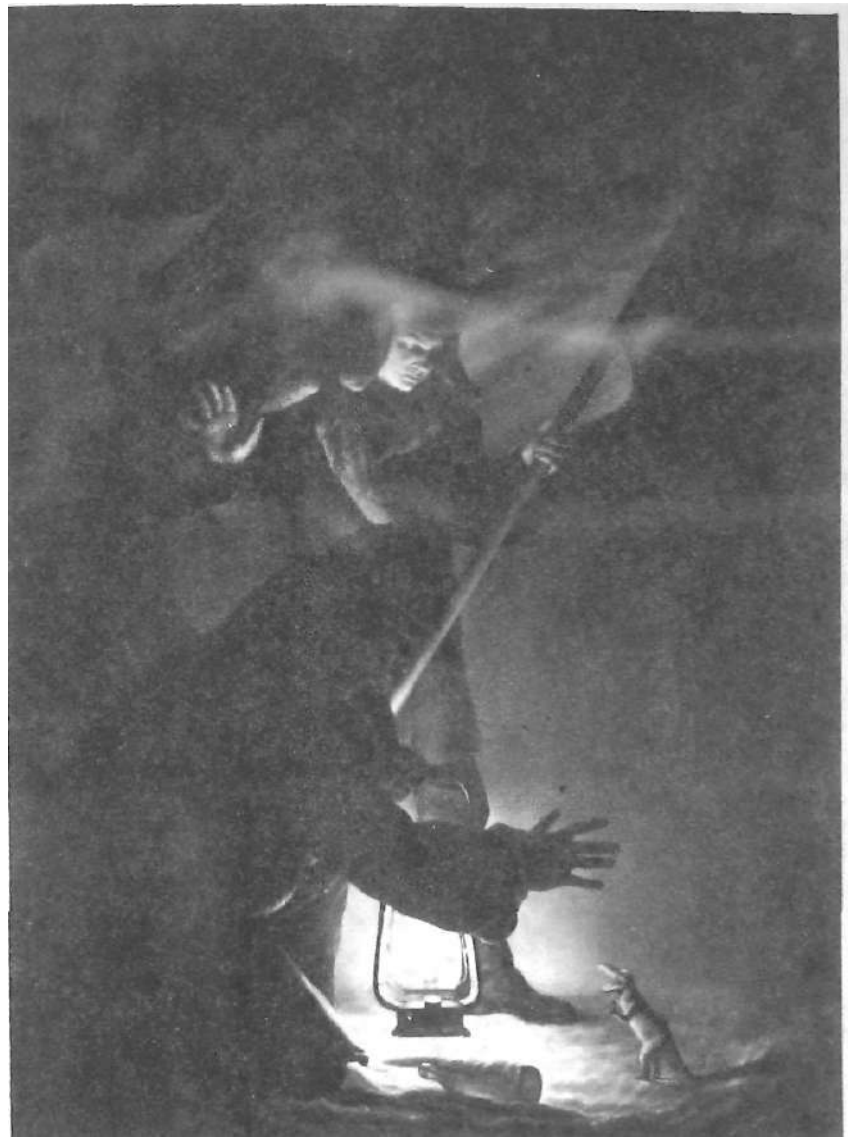
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!



Ленин провозглашает победу революции.
(По первому варианту известной картины В.Серова)



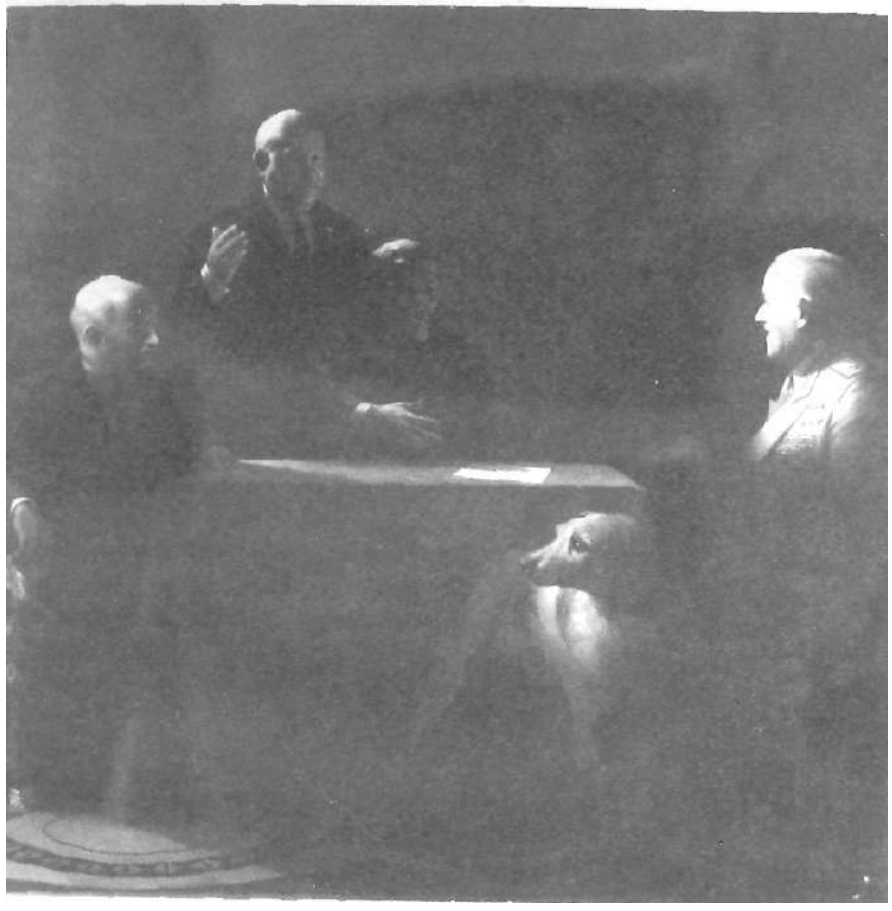
Однажды, еще ребенком, я видел Сталина



Большевики возвращаются домой после демонстрации

Колхозницы с быком-призером

Рональд Рейган в образе кентавра



Заговор Хрущева против Берия

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Зиновий ЗИНИК (Глузберг) — родился в 1945 г. в Москве. В 1975 г. эмигрировал в Израиль. В настоящее время живет в Лондоне. Автор повестей и романов, опубликованных на Западе: "Извещение", "Перемещенное лицо", "Ниша в пантеоне", "Русская служба".

Владимир РЫБАКОВ — родился во франции в 1947 г. В 1957 г. вместе с родителями переехал в СССР. О жизни в СССР и о службе в армии, которую Рыбаков нес на Дальнем Востоке, им позднее была написана повесть "Тяжесть". В 1972 г. выехал во Францию. В настоящее время живет в Париже и работает в газете "Русская мысль". В журнале "Время и мы" опубликовал повести "Александрийский мост", "Враг" и "Желтое и красное".

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ — родился в 1947 г. в Рыбинске (Ярославская область). В 1970 г. окончил искусствоведческое отделение Московского университета. Работал экскурсоводом в Соловецком, Кирилле-Белозерском музеях, в музее-усадьбе Тютчева в Муранове. В 1976 г. опубликовал в "Русской мысли" (Париж) письмо под названием "Ко всем нам" — к двухлетней годовщине высылки А.И.Солженицына. После этого лишился профессиональной работы и вынужден был стать сторожем. Публиковался во многих русскоязычных изданиях на Западе. В 1981 г. под редакцией И.Бродского в издательстве "Ардис" вышла книга Кублановского "Избранное". В октябре 1982 г. эмигрировал из СССР. В настоящее время живет в Вене.

Андрей КЛЕНОВ (Арон Куперштok) — родился в 1920 г. в Минске. В 1935 г. напечатал первое стихотворение. Был членом Союза писателей с 1940 г. Учился в Литературном институте им. Горького. Участник второй мировой войны. Автор многих книг как прозы, так и стихов. В 1973 г. эмигрировал в Израиль. С 1974 г. живет в Нью-Йорке. Публикуется в русскоязычной печати. Его эссе "Картинки Нью-Йорка" постоянно печатаются в "Новом русском слове", автор готовит их отдельное издание. Стихи, публикуемые в журнале, написаны Кленовым в Беловежской пуще в 60-е годы.

Илья ЛЕВКОВ — родился в 1943 г. По профессии политолог. Был заведующим отделом при Американском национальном комитете по проблемам советских евреев. Публиковался в основном в американских научных изданиях. В журнале "Время и мы" была напечатана его статья "Советские неофиты в Западном Берлине" (№ 61).

Борис ХАЗАНОВ (Геннадий Моисеевич Файбусович) — родился в 1928 г. в Ленинграде. Изучал античную филологию в Московском университете. На последнем курсе был арестован и приговорен к восьми годам лишения свободы по обвинению в антисоветской пропаганде. Вышел из лагеря в 1955 г. Получил медицинское образование и работал врачом в Калининской области и в Москве. Занимался литературной работой, переводил с древних и новых языков. Публиковался на Западе, за что подвергался преследованиям КГБ. В журнале "Время и мы" были опубликованы повести "Час короля", "Я, Воскресение и Жизнь", рассказы "Страх", "Частная и общественная жизнь начальника станции" и др. В 1982 г. эмигрировал, В настоящее время живет в Мюнхене.

Зденек МЛИНАРЖ — родился в 1930 г. в Чехословакии. В 1945 г. вступил в коммунистическую партию. Окончил Московский университет юридический факультет, после окончания работал в Генеральной прокуратуре в Праге, затем в Академии наук ЧССР. В 60-е годы Млинарж занимал пост секретаря юридической комиссии при ЦК КПЧ. В 1968 г. был избран вначале секретарем ЦК, а позже членом Политбюро. После оккупации Чехословакии советскими войсками Млинарж, отказавшись от всех занимаемых постов (ноябрь 1968 г.), перешел на работу в энтомологическое отделение Национального музея в Праге. В 1970 г. — исключен из партии. Млинарж — один из первых, кто подписал "Хартию-77". В том же, 1977 г., эмигрировал на Запад.

АРДИС/ARDIS

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ. Остров Крым. 12.50.
ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ. Николай Николаевич. 4.50.
АННА АХМАТОВА. Четки. 3.50.
АНДРЕЙ БИТОВ. Пушкинский дом. 8.00.
ИОСИФ БРОДСКИЙ. Часть речи. 4.50.
МИХАИЛ БУЛГАКОВ. Мастер и Маргарита. 5.50.
МИХАИЛ БУЛГАКОВ. Собрание сочинений в 10-ти тт. Том 1. Ранняя проза. 25.00.
ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ. Иванкиада. 5.00.
НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ. К синей звезде. 3.00.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. Записки из подполья. 3.50.
НИКОЛАЙ ЕВРЕЙНОВ. Фотобиография. 8.50.
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Кролики и удавы. 7.95.
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые главы. Сандро. 10.00.
ЛЕВ КОПЕЛЕВ. Держава и народ. 6.95.
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. Избранное. 6.00.
СЕМЕН ЛИПКИН. Воля. 5.00.
ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. Воронежские тетради. 3.50.
ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ. Тристия. 2.50.
ВЛАДИМИР НАБОКОВ. Аня в стране чудес. 6.00.
ВЛАДИМИР НАБОКОВ. Дар. 9.00.
ВЛАДИМИР НАБОКОВ. Лолита. 8.00.
БУЛАТ ОКУДЖАВА. 65 песен; 2-ое изд. 11.00.
БОРИС ПАСТЕРНАК. Воздушные пути. 4.50.
САША СОКОЛОВ. Между собакой и волком. 5.00.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА. Версты. 3.00.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА: ФОТО БИОГРАФИЯ. 10.00.

Книги издательства "Ардис" можно приобрести в любом русском книжном магазине или непосредственно в издательстве:

ARDIS PUBLISHERS
2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104 USA

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1983

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 48 долларов; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

Стоимость подписки в Израиле — 1200 шекелей; для библиотек — 1300; с целью экономической поддержки журнала — 1250 шекелей. Заказы и чеки высылать по адресу израильского отделения журнала "Время и мы": Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 350 франков; для библиотек — 400; с целью экономической поддержки журнала 450 франков;

— в Германии — 115 немецких марок; для библиотек — 125; с целью экономической поддержки журнала — 140 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

"ВРЕМЯ И МЫ" — 1983 ГОД

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия . . . . . .

Имя . . . . . .

Адрес . . . . . .

Подписной период . . . . . .

Прошу оформить подписку на журнал "Время и Мы" на . . . . . год. Высылать с номера . . . . . .

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись . . . . . .

Примечание редакции: чек выписывается по-англпийски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высыпается по адресу "Time and We"

475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014

HERMITAGE

ЭРМИТАЖ — Publishers of New Russian Books
2269 Shadowood, Ann Arbor MI 48104. USA. Tel (313) 971-2968

В 1982 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература" (143с, статьи)	7.00
АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками" (384 стр. Собрание пьес. Иллюстрации Э. Неизвестного)	11.50 (В тв. обл. 20.00)
АРАНОВИЧ, Феликс. "Надгробие Антокольского" (190 с, 82 илл.)	9.00
БРАКМАН, Рита. "Жизнеутверждение солженицынского героя" (144 с.)	7.50
ВАЙЛЬ П., ГЕНИС А. "Современная русская проза" (182 с, 15 илл.)	8.50
ВИНЬКОВЕЦКАЯ, Диана. "Илюшины разговоры" (144 с., 60 иллюстраций Игоря Тюльпанова.)	7.50
ВЛАДИМОВ, Георгий. "Три минуты молчания" (Роман, 402 с.)	16.00
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта" (Роман, 145 стр.)	7.00
ГУБЕРМАН, Игорь. "Бумеранг" (Стихи, 128 с., илл. Д. Мирецкого)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона" (Повесть, 130 с.)	7.50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера" (Сб. интервью, 112 с., 12 илл.)	8.00
ЕЛАГИН, Иван. "В зале Вселенной" (Стихи, 230 с.)	7.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда" (Роман, 320 с.)	10.50
"Практическая метафизика" (Фил. система, 332 с.)	8.50
"Метаполитика" (Под псевдонимом А. Московит, 250 с.)	7.00
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы" (160 с.)	7.50
КОРОТЮКОВ, Алексей. "Нелегко быть русским шпионом" (Роман, 140с.)	8.00
ЛЕЙТМАН, Игорь."Контуры лучших времен" (Соц. исслед., 128 с.)	7.00
ЛУНГИНА, Татьяна. "Вольф Мессинг — человек-загадка" (270 с.)	12.00
МИХЕЕВ, Дмитрий. "Идеалист" (Роман, 223 с.)	8.50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве" (110 с, 60 илл., б. форм.)	12.00
ОЗЕРНАЯ, Наталия. "Русско-английский разговорник"' (165 с.)	9.50
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Бунт подсолнечника" (Роман, 240с)	8.50
СУСЛОВ, Илья. "Выход к морю" (Рассказы, 230 с.)	8.50
"Рассказы о тов. Сталине и других товарищах" (140 с)	7.50
УЛЬЯНОВ, Николай. "Скрипты" (Статьи, 234 с.)	8.00

При отправке заказа просьба добавлять к сумме чека 1.50 доллара на пересылку (независимо от количества заказываемых книг). При покупке трех и более книг — СКИДКА 20%.

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА - БЕСПЛАТНО

Do you desire help in SPEAKING ENGLISH?

NEW CLASSES ARE FORMING for international students, business persons and government personnel.

Conversation Classes meet Monday through Thursday—four days each week. beginning at 9:00"a.m.. 10:30 am., 12:00 noon 1:30 p.m.. 4:00 p.m. and 5:30 p.m.

Grammar Classes meet Fridays at 12:00 noon -- and are open to daily conversation students.

Idiom Classes meet Fridays at 10:30 a.m.

A Modern Language Laboratory with "Self-Teaching" tapes is open to our students from 9:00 a.m. to 7:00 p.m. daily >

For Many Years, Hundreds of Students

have benefitted from our Spoken English Classes. Daily readings and conversation utilize an easy-to-understand Bible in a program that is absolutely nonsectarian!

TUITION IS FREE! Students buy their own books and pay a small registration fee.

CLASSES ARE SMALL AND FRIENDLY.

Phone now — (212) 432 1088

EOEGISTRATION — NOW

CLASSES BEGIN **SOON**

INTERNATIONAL MISSION
One World Trade Center. Suite 1425
New York. New York 10048

Отвергнутые рукописи нс возвращаются и по их поводу редакция в переписку нс вступает.

MAIN OFFICE:
475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

Printed in Israel

OCR и вычитка — Давид Титиевский, январь 2011 г.
Библиотека Алексадра Белоусенко

На четвертой странице обложки: В.Комар и А.Меламид.
Московский Кремль. Романтический пейзаж